

Борис ЛАВРЕНЕВ

ГРАВИЮРА НА ДЕРЕВЕ

1

Кудрин стоял у окна, нетерпеливо ожидая возвращения машины. Сквозь большое зеркальное стекло, недавно промытое уборщицами к Первомайским торжествам, была видна мутная, вздувшаяся Фонтанка. Тяжелая коричневая вода медленно, как стынущее машинное масло, уходила под низкую арку моста. Сквозь зеленую краску на арке проступали рыжие плешины ржавчины. В воде плавно кружились последние, идущие с Ладоги, льдины, обмытые и чистые, с кружевными изъеденными краями.

День был весенний, но еще по-зимнему бледный и лишенный красок. С Невы тянуло колючим ледяным ветерком, Немногие пешеходы брели по набережной, сгибаясь вперед, придерживая шапки и проламывая телами упругую вязкость ветра.

Кудрин смотрел на Фонтанку, на силуэт Михайловского замка за щеточкой еще оголенных ветвей старых деревьев, на пешеходов рассеянным и невнимательным взглядом. Глаза его механически вбирали видимое, мысли же были далеко. Он с неприятным чувством вспоминал только что происшедший в кабинете разговор.

Полчаса назад у Кудрина сидел технический директор треста Половцев, еще не старый, но уже известный специалист по керамике, профессор Политехнического института, бывший крупный деятель кадетской партии, человек острого, тропического и порой злого ума.

Кудрин недолюбливал его. Не то чтобы в нем жило органическое недоверие большевика, старого подпольщика, ссыльного, эмигранта, вынужденно покинувшего родину, а после революции прошедшего боевой путь комиссара, к специалисту сомнительной политической репутации. Нет, у Кудрина не было повода сомневаться в добросовестности Половцева, в искренности его желания работать с советской властью. Но Кудрин с трудом переносил ядовитые остроты и лукавые софизмы технического директора, когда между ними происходили разговоры, выходящие за деловые границы. И сейчас Кудрин был раздосадован таким разговором.

Половцев зашел в кабинет Кудрина в минуту, когда тот вызвал к себе главного бухгалтера, угрюмого пожилого человека, рьяного картежника и постоянного посетителя всех расцветших при нэпе значных мест, но превосходного знатока бухгалтерских тайнств. Кудрин хотел поговорить с бухгалтером по поводу случая, происшедшего утром в вестибюле треста.

Когда Кудрин, сдав в гардероб пальто, подошел к лифту, он заметил возле лестницы молодую женщину в сером потертом пальтишке и сбившейся набок измятой шляпке. Из-под

шляпки на ее виски спадали мелкие кудряшки странного розоватого оттенка. Круглые, широко расставленные, наивно-птичьи глаза ее были заплаканны. Держа за рукав собеседника, видимо какого-то работника треста, незнакомого Кудрину, женщина тихо и печально-ласково говорила:

— Но зачем же он прячется от меня? Не удалась жизнь, ошиблись, — что же сделаешь? Но почему он боится говорить со мной? Я ведь не устраиваю скандалов, истерик. Зачем же трусливо бегать от меня?

Заинтересованный Кудрин остановился у открытой двери лифта.

— Я не думаю, что он боится... Поймите, что ему, может быть, просто тяжело вас видеть, — ответил собеседник.

Женщина покачала головой:

— Почему же тяжело? Ну, разошлись, но неужели нельзя сохранить человеческие отношения? Нехорошо, что он увिलивает и лжет. Еще раз повторяю, — я не хочу скандалов, У меня на руках исполнительный лист, но мне не хочется предъявлять его, Ему же будет неприятна огласка перед всеми... Но ведь он должен подумать о ребенке. А я ему третий день молока не могу купить. Беспомощные птичьи глаза недоуменно смотрели на собеседника, наливаясь слезами. Женщина подняла руку, смахнула слезу с ресниц и вдруг заметила Кудрина. Она залилась румянцем, заторопилась:

— Не буду вас задерживать, ухожу. Но все-таки передайте ему.. скажите, что нехорошо. Мальчику нужно питание... молоко. Он такой слабенький.

Она повернулась и заспешила к выходу. Ее собеседник скользнул в кабинку лифта. Кудрин вошел за ним, нажал кнопку третьего этажа. Лифт загудел по-шмелиному. Кудрин повернулся и спросил резко и властно:

— Вы из какого отдела?

— Из бухгалтерии, товарищ директор, — торопливо и испуганно, с угодливой улыбочкой ответит тот, — работаю на учете фондов зарплаты. Никитин моя фамилия. Петр Васильевич Никитин.

— Объясните мне, с кем это вы сейчас разговаривали? Кто эта женщина?

Почему она плачет?

Улыбка Никитина стала еще угодливой.

— Извольте видеть, товарищ директор, это бывшая жена нашего счетовода Туткова. Разошлись... третий месяц. Тутков бегаёт от нее и не платит алиментов, а она тихая, не может взять его за манишку. А я ихний старый знакомый. Вот она и ходит, просит усювестить супруга. Она хорошая, и ребеночек у нее славненький.

В приторном тоне Никитина Кудрин уловил затаенное желание подложить свинью

сослуживцу. Он брезгливо поджал губы.

— Ступайте работать и скажите главному бухгалтеру, чтобы он в перерыве зашел ко мне.

Сотрудник мелкой рысцей побежал по коридору, а Кудрин, нахмурился, прошел к себе. Этот незначительный случай странно взволновал его, и он неприветливо встретил пришедшего на вызов бухгалтера.

Бухгалтер тоже встревожился вызовом. Его картежные подвиги уже были причиной неприятного разговора с директором месяца два перед этим, и бухгалтер решил, что предстоит новое крупное объяснение. Но когда Кудрин заговорил о Туткове, главбух, обрадованный тем, что недовольство директора направлено на другого, и обозленный на подчиненного, за которого приходится выслушивать замечания, раздраженно ответил:

— Тутков?.. Есть такой! Сволочь, сопляк!

— Что у него за история с женой?

Главбух собрался рассказать семейную драму Тутковых со всеми подробностями, но в эту минуту в кабинет вошел Половцев, перебил главбуха вопросом, обращением к Кудрину, и плотно уселся в кресло, явно не собираясь уходить. Главбуху пришлось свести приготовленное повествование к сухому положению фактов.

— Значит, суд присудил ей алименты, а этот гусь не платит? Так? — спросил Кудрин.

Главбух склонил лысую бугристую голову и развел руками:

— Именно так, Федор Артемьевич.

Кудрин постучал пальцами по столу и мельком взглянул на технического директора. Половцев со скучающим видом выпускал табачный дым из сложенных колечком губ. Лишь лицо его, с капитанской бородкой под нижней челюстью, было внимательно-проническим. Кудрин отвернулся и сердито сказал главбуху:

— Так вот! .. Предупредите этого вашего молодого из ранних, что если он желает продолжать у нас службу, то будет безоговорочно выполнять решение суда, А нет, — пусть летит к чертовой матери, Я стаканщиков поощрять не намерен...

И в ответ на удивленный взгляд главбуха Кудрин пояснил:

— Вы хотите сказать, что это его частное дело и к службе не относится?.. Нет, извините. Женщина ходит сюда, мучится сама, отрывает от дела сотрудников. Не сегодня-завтра первый припадок, истерика... Словом, предупредите, как я сказал. Не пожелает — марш вниз по лестнице и через парадное на улицу. Счетоводов на бирже труда легионы... Идите!

Главбух снова склонил голову с той всепонимающей улыбкой, которая у него всегда была наготове для разговора с директором, и вышел. Кудрин остался наедине с Половцевым.

— Что у вас еще, Александр Александрович?

— По службе ничего,— ответил Половцев, гася папиросу в хрустальной пепельнице,— а

частным образом хочу спросить: если вам в течение ближайшего часа не понадобится наш автотарантас, то позвольте воспользоваться. Мне нужно срочно заехать к Маргарите Алексеевне, до ее ухода на репетицию, а я боюсь, что на трампе опоздаю.

— Пожалуйста, — сказал Кудрин, — только верните к половине второго.

— Даже раньше! — Половцев выдержал паузу и продолжал: — Признаюсь, я с любопытством наблюдал, как вы раскипятились. Собственно, из-за чего?

Почему вас так расстроила банальная история конторского кавалера Фоблаза? И что это за словечко «стаканщик»?

Кудрин усмехнулся:

— Не поняли?.. А вспомните письмо Ленина Инессе Арманд насчет людишек, проповедующих теорию «стакана воды»... Которым взять женщину все равно что стакан воды выпить. Вот отсюда я произвел словечко «стаканщик». Не терплю эту дрянь! Главное, старо!.. В царское время «огарки» и «свободные сексуалисты». Теперь имечко новое, а суть та же. Мразь и гниль! Половцев ухватил свою капитанскую бородку сжатыми, как ножницы, указательным и средним пальцами, отчего она веерком выпятилась вперед, и, прищутив умный, насмешливый глаз, язвительно сказал.

— Эк вас понесло, уважаемый начальник! А ведь вы сами в этом виноваты!

— Я??? — с изумлением спросил Кудрин.

— Ну, не вы персонально... Но... большевики!

— Что вы мелете, Александр Александрович?— резко перебил Кудрин. — Извольте завираться! Где же вы нашли у большевиков не только защиту, но хотя бы нейтральное отношение к свинской распущенности, к стремлению превратить отношения мужчины и женщины в дешевый публичный дом, где можно за грош получить физическое удовольствие, не отягощенное никакими моральными обязательствами?.. Где? Интересно!

Половцев откинул рукав пиджака и взглянул на циферблат часов.

— Досадно, что я тороплюсь и придется выложить вам наспех. Скажите, дорогой патрон, не вы ли, — я имею в виду большевиков, — не вы ли в октябре семнадцатого года возвестили стосемидесятимиллионному населению бывшей Российской империи, что вами будут немедленно разрешены все матерьяльные и духовные проблемы, все «проклятые» вопросы бытия? Земля крестьянам, фабрики рабочим, а всем вместе полная свобода духа и полное уничтожение пошлой буржуазной морали, ликвидация брачных цепей. Не вы ли обещали раскрепощение от семейных обязанностей? Ведь обещали? Кудрин удивленно посмотрел на Половцева:

— Что за чушь?

— Постойте, постойте! — перебил Половцев. — Совсем не чушь. Не вы ли провозгласили

свободу разводов и абортов, приучая и пап и мам к полной и цинической безответственности, к вульгарно-физиологическому отношению к проблемам пола?

— Но вы же знаете объективные причины, — вставил Кудрин.

— Э, батенька! — Половцев махнул рукой. — Про объективные причины я-то знаю потому, что я как будто не очень глуп и невежествен. При всех моих разногласиях с вами я прежде всего русский человек и уважаю вас уже за то, что вы первое русское правительство, которое отказалось торговать Россией оптом и в розницу на зарубежных рынках. Вы вернули России ее государственное и национальное достоинство, и поэтому я стараюсь честно служить вам в меру моих сил и знаний и помогать вам справляться со всеми объективными причинами. Я способен к жертвам и самоограничению, вызываемым объективными причинами, если эти жертвы нужны для больших и высоких целей. И отмену буржуазной морали и мещанских предрассудков вы провозгласили не для меня. Я все это для себя давно сам отменил. И цепями семьи себя не связываю.

— Последнее безусловно, — огрызнулся Кудрин, — вместо семьи вы устроили себе уютное гнездышко, куда и поедете сейчас на государственной машине.

Половцев засмеялся:

— Этим вы меня не уязвите, дорогой вождь! Не по моему почину государственные машины начали ездить по гнездышкам. Я мелкая сошка! Берите повыше!.. А потом, я достаточно обеспечен, чтобы не слишком эксплуатировать доброту государства, и пользуюсь ею только в экстренных случаях. Мне хватает и на себя, и на Маргариту.

— Вы цинический интеллигент, — сказал Кудрин.

— Или интеллигентный циник... Возможно! Но дело не в этом. Повторяю, что я лично готов ждать обещанного вами земного рая хоть сто лет, удовлетворяясь сомнительными благами чистилища. Но десятки миллионов обывателей, у которых интеллект в эмбриональном состоянии, не хотят ждать. Обещали — подавайте немедленно и в горячем виде. Им нет дела до объективных причин, до капиталистического окружения, до всяких там четырнадцати держав, разевающих на нас пасти. Мещанин понял одно: ему обещаны дешевые и непритязательные удовольствия, не отягченные никакими обязательствами, за которые он не несет никакой ответственности. поведение мещанина руководствуется не интеллектом, а физиологией. Вот и получается...

— Вот и получается бредовая чепухистика, — озлился Кудрин.

— А что получается у вас, дорогой вождь?. Совершенно немарксистские желание показывать теперь обнадеженному вами мещанину кузькину мать только за то, что он поверил возвышающему его обману... Однако хватит, пожалуй. Мне пора!

— Действительно хватит! — сухо сказал Кудрин.— не забудьте вернуть машину к

половине второго.

— Не извольте беспокоиться. Ровно в час тридцать вы сможете отправиться в лоно вашей легальной социалистической семьи.

Половцев попросился и ушел деловитой размашистой походкой. После его ухода Кудрин попытался разобраться в подложенных секретарем бумагах. Среди них было скучное и длинное изложение склоки, возникшей на одном из предприятий треста. Кудрин старался добраться до смысла сквозь нагромождение неуклюжих фраз, но мешало сосредоточиться раздражение от разговора с Половцевым. Кудрин досадливо отложил бумаги, встал и подошел к окну, продолжая думать о Половцеве и мысленно продолжая начавшийся спор. Но когда только начали складываться те неопровержимые положения, которыми он должен был опрокинуть нелепые рацеи технического директора, — к подъезду подкатила машина.

Кудрин вернулся к столу, собрал бумаги в портфель и направился к двери. Но ему вдруг расхотелось ехать домой. Нежелание это возникло внезапно и невольно, и Кудрин сам испугался сознаться себе, что оно порождено иронической фразой Половцева о социалистической семье Кудрина. Кудрин женился в двадцатом году на фронте. Женился неожиданно для себя на сотруднице агитпропа политотдела армии, в которой был комиссаром. Широкая в плечах, румяная и пышная, похожая на сказочную русского красавицу, она ходила всегда в длинной кавалерийской шинели, сдвинув набекрень фуражку с черным бархатным околышем, которая чудом держалась на ее обвитых вокруг головы тугих косах. Звали ее Еленой. Она пользовалась репутацией опытного агитатора, но ее докладные записки о выездах в части поражали Кудрина безграмотностью и то смешили, то раздражали его. Однажды в такой записке он обнаружил; фразу: «Казармы пастроины из сирцвого кердпидша». Кудрин вызвал Елену к себе.

— Послушайте, Молчанова, — сказал он, показывая ей записку с жирно подчеркнутым синим карандашом «кердпидшом», — это ж из рук вон! Стыдно!

Член партии, да еще агитатор, должен быть грамотным и писать по-человечески. Без обычной грамоты вы и политической грамотности не достигнете. Потрудитесь подучиться!.. .. Вы учились где-нибудь?

— В сельской школе, — ответила Елена, опустив ресницы над порозовелыми от обиды и волнения скулами, и Кудрин впервые заметил, что она по-женски хороша и привлекательна даже в своем солдатском наряде.

— Ступайте! — сурово сказал он. — Советую подзубрить орфографию и грамматику. Вы же ответственный работник агитпропа, а многие красноармейцы пишут грамотнее вас. Чему вы можете их научить?

Елена ушла и после этого разговора долго не появлялась. Как-то, вспомнив о ней, Кудрин

спросил у начальника агитпропа, куда девалась Молчанова. Тот ответил, что Молчанова болела сыпняком, но выздоровела и находится в отпуску. Кудрину стало жаль девушку. Он почувствовал неловкость, как будто резкий разговор с ней был причиной ее болезни. Он узнал ее адрес и вечером с заседания Реввоенсовета поехал к ней, захватив редкие по тому времени лакомства: баночку темной у сахарной патоки, мешочек сушеной кураги и два фунта сала. Он застал Елену в ее комнате у железной времянки, на которой она пекла картофельные оладьи. От жара времянки у нее разгорелись щеки, за время болезни она похудела и показалась Кудрину еще привлекательнее. Он просидел у нее весь вечер, наносил ей в бадейку воды из колодца и наколот из старой двери груды щепок для времянки.

Потом он еще дважды заезжал к ней, а в третий раз, прощаясь, неожиданно обнял ее и привлек к себе. Она не отстранилась, и он остался у нее. Несколько дней спустя он перевез ее к себе в дом Советов и зарегистрировался в загсе. И они жили вместе уже восьмой год. За это время Кудрин старался помочь и общему и партийному развитию Елены, но особого успеха не добился. У нее был трезвый, но ограниченный ум, способный к твердому усвоению простейших истин, которые она заучивала накрепко и руководилась ими в жизни. Этих истин и упорной уверенности в правоте того дела, которому она служит, ей вполне хватало, и она не желала углублять и расширять своего кругозора. Все, что было за пределами заученных ею правил, было ей чуждо и непонятно, и она не хотела обременять себя липкими размышлениями. Ее прямолинейная самоуверенность порой выводила Кудрина из себя, но спорить с ней и убеждать ее было бесполезно. Она презирала всякий комфорт и уют, к жилью относилась, как к проходной казарме, и склонность Кудрина к хорошим красивым вещам называла с равнодушным презрением буржуазным обрастанием и барахольством.

Но характер у нее был ровный и спокойный, и за восемь лет Кудрин привык к ней, как к надежному спутнику в жизни. Детей у них не было. Елена не хотела рожать. Дети в ее представлении были досадной помехой для ее партийной работы в женотделе райкома.

Однако порой эта невозмутимость и ровность, переходящая в равнодушие ко всему выходящему за пределы узенького внутреннего мирка Елены, тяжело отражалась на Кудрине. Он начинал чувствовать, что, несмотря на долгую совместную жизнь, он и Елена оставались внутренне чужими друг другу людьми. Он не находил в Елене живого отклика на многое, что интересовало волновало его. Ему не удалось увлечь ее тем, чем увлекался он, и дом становился для него пустым и холодным. И сейчас, после разговора с Половцевым, ему не хотелось ехать домой. Он решил заехать на недавно открытую выставку графики. Он обычно не пропускал ни одной сколько-нибудь интересной выставки. На выставках он отвлекался от обычных будничных дел, возвращаясь в свою молодость. Еще в первых классах реального училища он любил рисование, и преподаватель, рассматривая его работы, увидел в них

ростки дарования и посоветовал всерьез заняться живописью. Но из пятого класса Кудрина уволили за организацию политического кружка, и для него началась трудная бродячая жизнь профессионального революционера.

После ссылки и побега из Сибири, попав в эмиграцию, Кудрин поселился в Париже. Найдя работу в механической мастерской на Авеню Лябурдонне, он в свободные часы бродил по городу с альбомом, делая зарисовки и акварельные этюды в различных уголках Парижа. И однажды решился понести свои работы к известному французскому мастеру, у которого была своя школа. Мэтр, который сначала принял бедно одетого и плохо говорящего по-французски иностранца с выражением скуки на сухощавом смуглом лице, просмотрев и вынесенное, оживился и добродушно похлопал Кудрина по плечу:

— *Enfantillage... singerie... galimatias... Mais il y a quelque chose... Il faut beaucoup travailler, mon cher. Vous avez certainement du talent... Mais aucune école.. Vous etes un sauvage!*¹

Когда Кудрин объяснил художнику, что материальные условия не дают ему возможности серьезно учиться, мэтр задумался, пощипывая бороду и поглядывая на Кудрина хитроватым, проницательным, но добрым взглядом.

Потом вдруг ободряюще усмехнулся:

— *Vous êtes Russe? Et certainement antitsariste? N'este-ce pas?*²

Кудрин ответил утвердительно.

— *Voyez vous!*³ Мой принцип не делать исключений. Я не могу благотворительствовать, иначе сам останусь без штанов. Способных, но бедных живописцев слишком много. Но для вас, мой друг, я нарушу свое правило. Вы мне понравились. У вас есть

такой чертовский огонек, который может разгореться. С завтрашнего дня приходите в студию работать... Ну, ну, без благодарностей. Не люблю! Три года работал в его студии Кудрин, быстро выдвинулся, дважды выставлялся в «Салоне независимых» и был отмечен прессой со снисходительным пренебрежением к иностранцу. Но пришла революция, возвращение на родину, горячка партийной и боевой работы в гражданскую войну, и живопись была надолго забыта. Однако после ранения, полученного при штурме мятежного Кронштадта, демобилизованный Кудрин, встав перед необходимостью определить свою дальнейшую дорогу, потянулся к оставленной профессии. В это время как раз началась реорганизация Академии художеств, и ее новый ректор, старый большевик и эмигрант, знавший Кудрина по Парижу, предложил ему преподавание на живописном факультете. Кудрин с радостью ухватился за возможность вернуться к любимому делу. Но когда он сказал

1 Ребечество... обезьянничанье... галиматья... Но что-то есть... Надо много работать, мой дорогой. У вас есть талант, конечно. Но никакой школы... никакой! Вы дикарь!

2 Вы русский? И, конечно, антицарист? Не правда ли?

3 Видите ли!

о своем желании в отделе кадров губкома, завотделом, просмотрев анкеты, криво усмехнулся и предложил Кудрину подождать решения, так как вопрос не прост и о нем придется доложить председателю губкома. Спустя несколько дней Кудрин был вызван к председателю. В огромном кабинете за столом сидел лохматый, одутловато-бледный, как бы налитой водянкой Григорий Зиновьев. Зиновьев посмотрел на Кудрина равнодушно-злыми свинцовыми глазами и, не предлагая сесть, ткнул указательным пальцем в лежащие перед ним па столе бумаги Кудрина.

— Ты что ж это в кусты лататы задаешь? — спросил он отрывисто-хрипло, медленно ползая взглядом по Кудрину. — Гайка ослабла?

— Я не понимаю вас, — ответил Кудрин, сдерживал негодование.

— Врешь, понимаешь, — сказал Зиновьев, постукивая короткими пухлыми пальцами, поросшими рыжей шерстью, — Ишь, искусства ему захотелось. На уютненькую работку, почище да полегче.

— Я был пять лет на нелегкой работе, — Кудрин старался говорить спокойно, — И закончил ее тяжелым ранением в грудь. Об этом ясно сказано в моих документах, И я не понимаю, почему вы думаете, что работа по созданию кадров советского изобразительного искусства легкая и чистенькая. Художник во время работы зачастую выглядит не чище трубочиста, а труд художника изнурителен и тяжел. Брюллов в обморок падал у мольберта...

Зиновьев встал, с трудом подняв с кресла распухшее тело.

— Довольно турусы на колесах вкручивать!.. Завтра пойдешь в отдел кадров и получишь назначение. Нам в промышленность командиры нужны. И не брыкайся! Прошное у тебя не плохое, смотри, как бы я тебе будущее не испортил. Останешься без партбилета. Я и не таких, как ты, веревочкой скручивал... Все! Не держу!

Хотя Кудрин и был наслышан о сатрапских замашках «невского Дантона», но вышел от Зиновьева ошеломленный таким приемом. Вечером он поехал к одному из членов губкома, товарищу еще по ссылке, и с возмущением рассказал о происшедшем..

— Посоветуй, что делать? .. Хамский тон и все это безобразие, — ладно, черт с ним, стерпеть можно, но главное не в этом. Я же никогда не имел дела с промышленностью. Какой из меня к черту командир в промышленности?.. Как думаешь, может, съездить в Москву?

— Не рекомендую, — ответил член губкома, — хуже будет. Совсем голову потеряешь, если на него будешь жаловаться. Силен Гришка Отрепьев, до сих пор силен, хоть и помяли бока и за девятьсот девятнадцатый и за Кронштадт. Лучше сдавайся, подыми лапки и садись, куда прикажут. А там видно будет.

Спустя два дня Кудрин получил назначение красным директором треста «Росстеклофарфор». На первых порах он робел и семь раз отмеривал, прежде чем сделать

какой-нибудь шаг, но за пять лет освоил работу треста и сейчас уже уверенно руководил комплексом крупных предприятий и даже полюбил широту этого дела. И, встретив на одном из совещаний того члена губкома, к которому приезжал поплакаться, со смехом вспомнил свой тогдашний испуг и колебания;

— Вот видишь, я же тебе говорил, — сказал член губкома, — и самого Гришку пересидел, и сидишь прочно, и репутацию себе сделал передового командира промышленности. Пойдем в буфет, хлопнем за твое настоящее и будущее по стаканчику.

Огромный размах деятельности треста, который требовал напряженного внимания директора, занимал все время Кудрина, и все эти годы он не брался за карандаши и кисти. Он как будто вычеркнул из своей жизни прошлое. Но по-прежнему любил бывать на выставках и следить за ходом развития изобразительного искусства, хотя многого не принимал и многое раздражало его.

2

В высоком гулком зале, где разместился после революции постоянный аукцион госантиквариата, было сумрачно и тихо, как в заброшенном лютеранском храме. Сходство еще усиливалось готической деревянной резьбой решетки и витражными розетками в высоких стрельчатых окнах. Между натянутыми суровым холстом стендами выставки была в беспорядке расставлена дорогая старинная мебель всех стилей, огромные фарфоровые вазы, бронза и мрамор. Сюда свозились из реквизированных особняков, из бывших помещичьих имений предметы искусства и старины, отбираемые особой комиссией в государственный фонд. Лучшее шло на пополнение музейных экспозиций, остальное распродавалось и распределялось по комиссионным магазинам.

Комиссия также приобретала предметы антиквариата от населения. Оценку предлагаемых вещей давали несколько экспертов, среди которых главным был ловкий проходимец, бывший присяжный поверенный Бураков. Пользуясь полной бесконтрольностью и неосведомленностью комиссии, которая в основном состояла из рабочих, Бураков рекомендовал к приобретению вещи второго и третьего сорта и отклонял лучшие, оценивая их как подделки или искусные копии, если владельцы в какой-либо степени разбирались в искусстве, либо просто объявлял не стоящей внимания пачкотней и ремесленничеством. Если владельцу требовал более широкой экспертизы, требование безотказно удовлетворялось. Но эксперты составляли крепкий и тесно спаянный орден разбойников, и работы, подписанные именами крупнейших мастеров, квалифицировались как копии, сделанные учениками, а владельцу грозили неприятности за попытку ввести в заблуждение государственный орган.

Спустя некоторое время к отчаявшемуся владельцу являлось некое подставное лицо, просило дать возможность познакомиться с отвергнутыми комиссией вещами, обволакивало изысканнейшей любезностью и в конце концов убеждало уступить полотно или скульптуру за десятую долю подлинной цены. Затем приобретенная драгоценность перекочевывала в обширную квартиру Буракова на набережной Невы, и постепенно в комнатах этой квартиры возник новый музей, который если и уступал по количеству собраниям Эрмитажа и Русского музея, то включал в свою «экспозицию» произведения, которыми могло гордиться любое собрание.. Сокровищам Буракова стало наконец тесно в шести, огромных комнатах, и, использовав высокий вестибюль старого петербургского дома, он развесил в нем устрашающие полотна кубофутуристов, от которых в ужасе шарахались тярлевские молочницы, носившие молоко в бураковский подъезд.

Вещи же, приобретенные комиссией, сваливались как попало в зале, ожидая своей очереди на распределение по объектам. И тут же устраивались немногие в эти годы выставки. На серых прямоугольниках стендов, как иконы фантастического иконостаса, были развешаны рисунки и гравюры. Взяв из рук кассирши у входа зеленый лоскуток билета, Кудрин с особенным удовольствием и волнением вдохнул знакомый сладковато-щекотный запах даммарного лака, прочно устоявшийся в зале.

Он равнодушно и не задерживаясь прошел мимо первых стендов, Выставленные на них работы не привлекли его внимания, Частью они раздражали глаз зрителя загадочными формалистическими изысками, невнятной путаницей геометрических фигур, назойливой и претенциозной ирреальностью, частью угнетали скучной бескрылостью так называемых "производственных" сюжетов. Кудрину было ясно, что все эти одноцветные и многоцветные гравюры и офорты сделаны людьми, глубоко чуждыми и не понимающими тех огромных процессов перестройки архаической русской индустрии, которым отдавал все силы, энергию и энтузиазм рабочий класс, новый, разумный и смелый хозяин, направляемый волей и умом партии. Художники брались за эти темы «без вдохновения, без любви», без знания предмета, а только побуждаемые модой и возможностью быстрой карьеры и хорошего заработка. Было в этих работах что-то морально нечистоплотное, поспешная лакейская угодливость требованиям нового хозяина. Кудрин наспех проходил мимо бесчисленных «сталелитейных цехов», «доменных печей», «плавок стали», «текстильщиц за станками», где в нагромождении металлических и каменных громад кранов, бессемеров, прессов, банкаброшей, ткацких станков, тяжелых перекрытий цехов, в бездушных массах мертвой материи бесследно исчезал ее творец, одушевляющий ее человек. Забвение личности человека, нового человека, рожденного Октябрьской революцией, не угнетенного и беспомощного раба, а повелителя мира машин, предназначенных служить освобождению и

раскрепощению труда, было характерной чертой всех этих поспешных, услужливых приспособленческих работ. Досадливо морщась, Кудрин проходил стенд за стендом, не находя ничего, что могло бы привлечь его взгляд. Он уже хотел уходить, недовольный и раздосадованный; но, обогнув следующий стенд, внезапно остановился, всматриваясь в большую гравюру, висевшую в центре, среди мелких карандашных набросков.

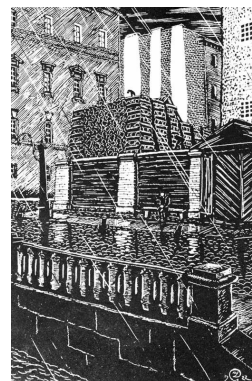
Резаная по дереву гравюра была оттиснута на цветной бумаге серо-сиреневого цвета в две краски — темно-синюю и зеленовато-желтую. С этого листа цветной бумаги на Кудрина внезапно повеяло волнующим дыханием творчества. Он заглянул в каталог. Фамилия художника — Шамурин — ничего не сказала ему. Гравюра называлась «Настенька у канала», из цикла иллюстраций к «Белым ночам» Ф. М. Достоевского.

Вся плоскость гравюры была подчинена умелому композиционному сочетанию серо-сиреневого и черно-синего цветов; и только блики на зеркальной поверхности воды канала и прозрачно-зеленоватое лицо девушки врывалось дерзким сияющим пятном в холодные сумерки.

Девушка в старинной соломенной шляпке, корзиночкой стояла у резной чугунной решетки канала, Лицо у нее было суховатое, породистое с горьким изломом бровей и скорбной складочкой рта. Но не самые черты ее блика поражали смотрящего. С удивительной силой было выражено внутреннее душевное состояние этой девушки, безнадежная ее обреченность, безысходное отчаяние. Каждая черточка ее тонкого лица, каждая линия ее безвольно поникшей фигуры были полны мучительным, бесплодным ожиданием возвращения какого-то огромного счастливого чувства, которое наполняло прежде ее жизнь и теперь ушло безвозвратно.

И было ясно, что невозвратность этого счастья полностью осознана, и человек должен рухнуть под гигантской смертельной тяжестью внезапной беды.

От зеленоватых бликов в воде канала на лицо девушки ложились чуть уловимые смертные тени. Они же таяли на гранитных камнях набережной, на четком и страшном, как узор гробового рюша, контуре решетки канала. За каналом над деревянным забором в мутно-сиреновом небе вставала огромная глухая плоскость брандмауэра. По ней трупными пятнами проступала шелушащаяся штукатурка печных труб.



В скупости пейзажа была сознательная графическая сухость, омертвелость, которая еще сильнее подчеркивала беспомощность и обреченность девушки. Кого бы она ни ждала: отца, мужа, любовника, брата, — ожидание не могло дать ей ничего.

Кудрин, отступив шаг назад, пристально смотрел на гравюру и думал: «Чужое искусство!..

Больше того — враждебное. Судороги уходящего мира, тоска, безнадежность, предчувствие неизбежности конца, распад. Но какая сила в это чуждой вещи! Какая сила! С каким трагическим пафосом художник умирающего общественного строя — умеет выразить его обреченность, и как наши художники бессильны еще пока передать с такой же силой наш подъем на вершины жизни... Почему? В чем причина?.. Что так поражает меня в этой девушке? Эта изумительная выразительность внутренней катастрофы человека, безысходности страдания? Да, наверное, так... Но кто этот художник?.. Шамурин... Шамурин. Нет, никогда не приходилось слышать эту фамилию».

Кудрин тщетно напрягал память. Он знал многих художников и лично и по именам, но имя Шамурина: ничего не говорило ему. И это было странно потому, что перед глазами Кудрина была работа, отмеченная печатью большого, углубленного мастерства. Кудрин подошел к гравюре вплотную и нагнулся. Под стеклом в правом углу он прочел четкую надпись «А. Шамурин» и дату «1926».



«Работа прошлого года», — подумал он и тут же почувствовал, что кто-то тронул его за плечо. Он быстро обернулся.

И неслышно подошедшем к нему сзади человеке он узнал ректора Академии художеств, который несколько лет назад предлагал Кудрину работу в академии. Но как изменился за эти годы еще нестарый человек. Он исхудал, кожа лица одрябла, под глазами набухли мешочки, голубые глаза, прежде излучавшие живой свет, поблекли, в рыжеватой бороде густо проступила седина, и весь он словно стал ниже ростом.

— Эрнест Эрнестович, что с вами? — обеспокоенно спросил Кудрин, сжимая вялую, влажную ладонь ректора. — Вы больны?

— Все-таки к искусству тянет? — сказал Эрнест Эрнестович, не отвечая на вопрос. — Иду и вижу, кто-то впился глазами в гравюру. Подхожу ближе, — а это Федор Артемьев, Кудрин сын... Что, забрало за душу?.. Вещь сильная, ничего не скажешь. Неприятная, но крепко скроено... Пожалуй, качественно лучшая на всей выставке.

— Да, интересная, — подтвердил Кудрин, — но все же меня сейчас интересует ваше состояние, Эрнест Эрнестович, Ваш болезненный вид меня тоже-забирает за душу. В чем дело?

— Болен... Смертельно болен! — вдруг резко и зло сказал Эрнест Эрнестович. — И необыкновенной болезнью. В медицинской науке еще не изучена, Называется «шарлатанобия»!

— Ну, это еще не опасно, — засмеялся Кудрин.

— Тут не смеяться, а рыдать надо, — с той же злостью продолжал ректор.

— Еще немного — и сердце у меня лопнет. Поломался я на войне с нигилистическими новаторами — футуристами, кубистами, экстремистами и прочими флибустьерами и джентльменами удачи... Гибнет, друг мой, академия, разваливается все, держалось наше великолепное русское искусство. Куролесят и экспериментируют шарлатаны, портят все, губят молодежь, отрицают рисунок, сами ничего не умеют, но кривляются, экспериментируют над живыми душами. А я один как перст и реальной помощи не вижу... Анатолий Васильевич не подмога. И характером мягок, и сам любит иной раз форснуть левизной. А эти его, как тараканы коврижку, обсели... Профессора живописи, черт их возьми! Лепят на полотно квадратики, кружки, треугольнички — дело простое, а всерьез ночного горшка сами написать не могут... Вот и стал я не жилец на этом свете... Понимаю, что сейчас есть более срочные и решающие задачи, чем изобразительное искусство, не до него наверху. И свое время все станет на место, а пока что доконают меня «исты».

Эрнест Эрнестович безнадежно махнул рукой, и сквозь его иронически-шутливый тон Кудрин почувствовал острую горечь, разъедающую сердце старого, мудрого человека, надломленного острой идейной борьбой за честь и славные традиции русского искусства с горластой, шумливой и беспринципной ордой проповедников «новых форм», рядящихся в революционный наряд.

— Не нравится мне, Эрнест Эрнестович, ваше «нутро». Не опускайте рук. Покрасуются мыльные пузыри и лопнут. Есть же и отрадные факты. Скажем АХРР.

Эрнест Эрнестович отмахнулся еще безнадежней:

— Эх, этот самый АХРР не лучше Пролеткульта. А кроме того, голубчик, и в АХРРе убежденных и идейных людей от силы десятков наберется. А остальные пенкосниматели. Почуяли, что в нынешней ситуации АХРР вроде елки с подарками, вот и танцуют вокруг. Мне они еще противней, чем мои ниспровергатели классики и новаторы, У тех мозги набекрень и хулиганский задор, а у этих уж больно голая коммерция без фигового листика.

— Вон как вас пессимизм разъел, — усмехнулся Кудрин. — Это все от сидячей жизни, Эрнест Эрнестович. На воздух почаще надо... Вы отсюда в каком направлении путь держите?

— В домашнем.

— А хотите прокатимся на острова на часок. День свежий, воздух млечный.

И рассеяться вам полезно.

— Ну, что ж... пожалуй, поедем, — согласился Эрнест Эрнестович, Взяв Эрнеста Эрнестовича под руку и направляясь к выходу, Кудрин еще раз оглянулся на гравюру:

— Кстати, Эрнест Эрнестович, вы знакомы с этим... с Шамуриным?

— Нет, — Эрнест Эрнестович слегка пожал плечами, — слышал только о нем.

Старик. Одинок. Ни с кем не знается. Говорят, будто у него в голове нелады. До двадцатого

года работал много, выставлялся. После затих и вот спустя семь лет появился... А видно, талантлив, и сильно. Не мудрено, что он вам показался...

Они вышли на Морскую и сели в машину. Машина рванула с места, пересекла Невский, проскользнула в пасть арки Главного штаба и вырвалась на захватывающий простор площади Урицкого. Косые иглы закатного солнца рассекали холодноватый чистый хрусталь весеннего неба. На вершине розовой полированной свечи Александровской колонны грузно летел под тяжестью креста курносый ангел и красная говяжья туша Зимнего дворца, загроможденная ремонтными лесами, закрывала горизонт. Прикрываясь портфелем от бокового, тревожно золотого блеска, Кудрин окинул взглядом площадь во всей ее изумительной четкости и гениальной простоте единственного в мире и неповторимого архитектурного ансамбля.

Эта красота, очевидно, захватила и Эрнеста Эрнестовича. На лбу у него разгладились две вертикальные морщины, все лицо помягчело и в глазах появился огонек.

— Какой город! Какой город! — протяжно сказал он и всей грудью вдохнул бодрящим предвечерним холодом. Кудрин впервые попал в Ленинград после демобилизации. Детство и юность его прошли на Кавказе, затем он попал в Москву, из Москвы в Сибирь, оттуда в эмиграцию. Австрия, Швейцария, Франция. Бродячая жизнь изгоя, бесконечная скачка по странам и городам в поисках пристанища и заработка. Были города прекрасные и отвратительные, из которых хотелось бежать.

Дореволюционного императорского Петербурга с его размеренной скукой и сгущенной атмосферой, в которой люди жили, как на кратере вулкана, поминутно ожидая взрыва, города, в котором рядом с лихорадкой становящегося на ноги российского капитала уживался сухой бюрократический ритуал и показной военный блеск распадающейся империи, Кудрин не знал. Он увидел новый Петроград, получивший вскоре иное почетное имя, в то время, когда смолкли пушки и над развенчанной столицей воцарилась глухая, пугающая тишина, В просторах опустелых проспектов, между брусчаткой и торцами летом пробивалась непокорная, ярко-зеленая трава.

Дома вставали над этой пустыней, как надгробные памятники, полуразрушенные, но еще величавые. Широкая стальная Нева вливалась под мосты, как под прокатные станы, и медленно бесшумно стекала и западу.

Кудрина неприятно поразило запустение центра города, и он больше полюбил окраины, районы старых застав, где над прошлым уже закипала новая жизнь. Она давала знать о себе теплым дыханием фабричных труб, тянущимся к взморью дымом, ревом гудков, гулкой беготней вагонеток, лязгом и визгом терзаемого металла, пыхтением пара, жужжанием электромоторов, железными руками кранов, красными отсветами расплавленного чугуна, льющегося в изложницы. Но и в замершем центре была своя красота, замкнутая и

оскорбленная. В белые ночи гиперборейский город, в колоннадах и портиках своих дворцов, был похож на безжизненную, но прекрасную гравюру, на которую хотелось смотреть без конца, с сердцем, стиснутым болью и жалостью.

Разумом и верой большевика Кудрин верил, что там, на окраинах происходит подлинное возрождение города, что там начинает все сильнее биться индустриальное сердце страны, рождается ее могучее и прекрасное будущее. Сердцем художника он любил и замороженную Элладу ленинградских дворцов и площадей, геометрическую точность этого города стройных и строгих линий, где все подчинялось прямолинейному устремлению в мировые просторы, лежащие за желто-серыми волнами Балтики.

И на восхищенную фразу Эрнеста Эрнестовича Кудрин сочувственно улыбнулся. Машина зашуршала по мосту Равенства. Направо и налево лежала искрящаяся, муаровая, андreeвская лента Невы, разрезающая город. Кудрин приподнялся на сиденье и сказал Эрнесту Эрнестовичу:

— Вот уже шесть лет, как я стал ленинградцем, но всякий раз, как вижу Неву, — волнуюсь. К этой реке нельзя привыкнуть, как привыкаешь к обычному пейзажу. В ней и в Волге есть что-то от русской души, широты, размаха, величавости и простоты. Она зовет и будоражит, Эрнест Эрнестович молча кивнул. Они проехали на Елагин остров, вышли из машины и пешком прошли к Стрелке. В парке было тихо и пусто. Прели не убранные с осени кучи опавшей листвы. За сухим тростником, разросшимся на мелководье Стрелки, лежала опалая гладь лахтинского взморья, и на западе в сизом дыму не то виднелся, не то скорее угадывался Кронштадт.

Они постояли у воды, любясь переливами закатных красок, Эрнест Эрнестович уже спокойней, без раздражения рассказывал Кудрину о своей работе в академии, о трудностях, о ежедневных стычках с «леваками», захватившими командные позиции в академии.

С взморья нанесло колючий ветерок. Эрнест Эрнестович закашлялся, запахивая пальто, и опять потускнел.

Кудрин довез его до квартиры в академическом корпусе на 8-й линии, сердечно простился и подождал, пока Эрнест Эрнестович не скрылся в подъезде.

— Теперь куда, Федор Артемьевич? — спросил водитель, подождав несколько и видя, что начальник молчит, занятый какой-то думой.

— Что? — спросил Кудрин, стряхивая задумчивость, — куда?.. Ну куда же, как не домой. Домой! — повторил он еще раз.

На Каменноостровском Кудрин вышел и подписал водителю путевку.

— Вечером на заседание поедете? — спросил водитель.

— На какое еще заседание? — с удивлением взглянул на него Кудрин.

— Вот-те на! — сказал водитель укоризненным тоном любимчика начальства.

— Забыли уж... На завод-то вас нынче звали, на первый спектакль драмкружка?

— Не поеду! Хватит у меня забот и без драмкружков. — Ваша воля, Федор Артьемьевич. Мое дело напомнить, а дальше я сторонкой. Мне и вольготней... Так не заезжать?

— Нет! Спасибо! Езжай!

Кудрин вошел во двор. Здесь все было знакомо и привычно, все на своих местах, как в течение всех шести лет, прожитых в этом доме. Двор был квадратный, ленинградский, колодцем. Чирикали на потресканном асфальте воробьи, висел, как обычно, в окне квартиры № 17 полосатый матрац с синей латкой в углу, удивительно похожий от этого на американский флаг.

Из мансарды стекали во двор синкопы, выжимаемые из расстроенного пианино поэтессы Залапанной. Белый кот с боком, залитым зеленой краской, лежал кверху брюхом и равнодушно смотрел на резвящихся воробьев.

Все было такое, как всегда, и не такое. По крайней мере, так показалось Кудрину. На миг ему почудилось, что в привычном сонном укладе двора проступила какая-то зыбкость, неуверенность, даже тревожность. Но в следующую минуту он понял, что ничто не изменилось и впечатление зыбкости этого кондового уклада было создано багряным отблеском заката на слепой кирпичной стене соседнего дома.

Уже входя в парадное, Кудрин бросил косой взгляд на эту стену и вдруг понял, что она чрезвычайно похожа на брандмауэр, изображенный на гравюре Шамурина, за спиной девической фигуры у канала.

— А, черт! .. Привязалась же ко мне эта гравюра, как банный лист, — чертыхнулся он, подымаясь по лестнице.

В передней, когда он снимал пальто, его ноздри приятно пощекотал запах горячего борща. Очевидно, обед уже был подан. Он вошел в столовую. Елена стояла у стола, упершись правым коленом в сиденье стула, и, держа на весу тарелку, ела борщ, заглядывая поверх ложки в разостланную на столе газету.

Кудрин досадливо сморщился. Он очень не любил эту походную манеру есть стоя и не раз говорил об этом Елене. Она пожимала своими крутыми, полными плечами и пренебрежительно отвечала: «С чего это я стану рассиживаться, как какая-нибудь барынька? Может, еще салфеточкой повязаться и рыбу с ножичка не есть? Обрастанием пропитываешься, Федор!.. Мне некогда время на обеды тратить».

Кудрин недоумевал: «При чем тут обрастание?.. Каждому времени свое. В теплушках па фронте можно было так обедать, вернее, иначе нельзя было, не на чем было сидеть, А сейчас есть стулья. И обедать надо сидя хотя бы потому, что это здоровей. Нужно беречь себя для

работы».

Но Елена не понимала и не хотела понимать, что можно заботиться о своем здоровье, что можно хотеть каких-нибудь элементарных удобств, требуемых гигиеной. Это казалось ей идущим вразрез партийным нормам поведения, почти неприличным для райкомовской работницы. Она молча кивнула Кудрину и продолжала читать газету, прихлебывая борщ. Кудрин сел напротив и налил себе борща. Елена в это время dokonчила свою тарелку и небрежно плюхнула ее на стол.

— Кончишь, скажи Фене, — бросила она мужу на ходу, — она подаст тебе картофельную запеканку. А я бегу! Некогда!

— Куда ты несешься? — У меня в шесть совещание по поводу клуба домработниц в районе.

Кудрин пожал плечами:

— Не понимаю. Сейчас без пяти пять... До райкома ходьбы четверть часа. Неужели нельзя нормально пообедать и спокойно пойти. Даже если ты опоздаешь на пять минут, ни клуб, ни совещание от этого не погибнут. Я тоже бываю на всех совещаниях и заседаниях, где мне нужно бывать, но не устраиваю из своей жизни бега в колесе и не организую голодовку. А у тебя последнее время сплошная истерика. Ты кидаешься то туда, то сюда. Не думаю, чтоб от такой бестолковой сумятицы выигрывало дело.

Елена посмотрела на него холодным, отчужденным взглядом. Схватила с подоконника смятую шапочку и, небрежно нахлобучив ее на макушку, сухо кинула Кудрину:

— Я еще не собираюсь облениться спать на заседаниях в кресле и нагуливать жир. Я горела на работе, горю и сгорю, и ты меня не переучишь.

Кудрин вспыхнул:

— Переучивать тебя я не собираюсь. Я не реформаториум для дефективных. Гореть на работе прекрасно, но гореть надо с толком, чтобы огня на дольше хватило.

— Ну и гори с расстановочкой ... А мне предоставь поступать по-моему. Пожалуй, ты скоро в свободное время напишешь новый Домострой.

Она резко повернулась и вышла, Кудрин со злостью отодвинул тарелку. В последнее время он с трудом сдерживал раздражение в разговорах с Еленой. Упрямая и туповатая ограниченность мышления, которая отличала ее и раньше, стала теперь почти нестерпимой. Она выработала себе раз навсегда несложный кодекс поведения, в котором, как в школьном расписании, были твердо установлены стандартные правила на все случаи жизни. Этот кодекс предписывал в такой-то ситуации делать и говорить то-то, в другой иное, не допуская никаких отклонений. Он напоминал Кудрину те нелепые книжонки, которые в дореволюционное время высылались за пять семикопеечных марок и учили правилам

хорошего тона в высшем обществе. Правила, выработанные для себя Еленой, были таким учебником хорошего тона для партийной среды, и то, что эти правила были так уныло скучны, приводило Кудрина в раздраженное состояние.

Эти правила отнимали у Елены способность к самостоятельной, смелой, ищущей мысли, широту взглядов. Она ни к чему не стремилась и пассивно шла по течению, довольствуясь своим примитивным катехизисом. Жизнь, которую она сама для себя создала, вполне удовлетворяла ее небольшие потребности.

Кудрин встал из-за стола. Ему сразу расхотелось есть после этого разговора. Вошедшей с запеканкой домработнице он приказал подать чай в кабинет. В кабинете он опустил на окна плотные шторы и зажег настольную лампу под зеленым стеклянным абажуром. Он любил свой кабинет, этот зеленоватый ласкающий полусвет, запах табачного дыма и горячие разговоры с товарищами о путях революции, о боевых делах и задачах партии, разговоры сердечные, открытые и прямые, без дипломатических извилин и недомолвок.

Каждый раз после таких споров Кудрин чувствовал себя освеженным и обновленным, словно выкупался в кипящем холодном нарзане.

Опустив шторы, он прилег на диван и взял со столика номера новых журналов. В немецком ежемесячнике «Die Glassindustrie» его внимание привлекла статья о новых достижениях в области механизации стеклодувного дела. Статья была иллюстрирована снимками огромных, похожих на живые существа, остроумных машин, которые выдували сразу по несколько десятков бутылок, вдавливали доньшки, обрезали горла и отправляли на конвейер. Машины давали громадную экономию рабочей силы, почти вдесятеро повышали производительность труда, а главное, освобождали армию стеклодувов от каторжной работы, которая влекла за собой в массовых масштабах смертельную эмфизему легких и туберкулез.

Кудрин протянул руку и снял с наддиванной полочки словарь. В эмиграции он хорошо овладел французским языком, немецкий же знал слабо и без словаря читать не мог, а статью ему прочесть было нужно, так как именно эти машины были заказаны для треста в Германии и туда уже выехала комиссия для приемки.

Домработница принесла чай, и Кудрин с удовольствием выпил крепкую духовитую жидкость. Дочитав статью, он вспомнил, что завтра выходной день, можно не ехать на работу и провести время по своему желанию. Он встал с дивана, подошел к окну, отодвинул штору и заглянул вниз. Уже совсем стемнело, двор утонул в фиолетовой мгле, и от этого печального полумрака мысли Кудрина внезапно опять вернулись к шамуринской гравюре.

Ему стало не по себе. Он попробовал проанализировать: что, собственно, так неудержимо привлекло его в этой вещи, явно чуждой всему его мирозерцанию, враждебной по своему упадочно-мистическому направлению, и пришел к убеждению, что сила воздействия гравюры

объяснялась высоким мастерством автора. глубокой правдивостью и искренностью, художественным совершенством ее техники заслонявшими неприемлемое для Кудрина содержание.

И как только это стало ясно ему, у него возникло желание еще раз посмотреть на гравюру, чтобы проверить свое впечатление. И он решил поехать завтра снова на выставку и взять с собой Елену.

«Нужно хоть на несколько часов оторвать ее от повседневной будничной возни в замкнутом кругу. Это будет ей только полезно». Он опять сел на диван и углубился в журналы.

3

Проснулся Кудрин рано. На часах было четыре тридцать утра, но солнце северной майской ночи, на короткие часы ушедшее под горизонт, уже высоко стояло над крышами города, умытое росой; румяное и веселое,

Зыбкий, струящийся свет лился сквозь тюль занавесок, сияющими квадратами распластывался на паркете, кружа в своих лучах хороводы серебристых пылинок.

Взглянув на часы, Кудрин тихо встал с постели, стараясь не разбудить еще сладко спавшую на другой постели Елену. Накануне он лег спать, не дождавшись ее и не слышал, когда она пришла. Ее серенькое будничное платье, небрежно скомканное, было брошено на спинку кровати. Щекой она плотно врылась в подушку, ровно дышала, и сон ее был спокоен, как сон человека, заслужившего отдых добросовестным трудом.

Ступая на цыпочках, Кудрин подошел к шкафу, надел пижаму и вышел в столовую. Между рамами окна стоял глиняный кувшин с молоком. Кудрин налил стакан, отрезал ломоть черного хлеба и с удовольствием выпил молоко, сохранившее еще приятную ночную прохладу.

Закусив, он ушел в кабинет заняться, как всегда, утренней гимнастикой. Эту привычку он приобрел в эмиграции. Живя в России, он никогда не думал о гимнастике. В революционных кружках молодежи, в которых прошла его юность, на гимнастику взглянули бы с пренебрежительной усмешкой, как на прихоть, недостойную революционера.

После побега из Сибири, в первые месяцы жизни в Женеве, он поселился у старого мастера часовой фирмы «Лонжин». Мастеру было за шестьдесят, он был сед, но гибок и строен и, когда по утрам обливался во дворике по пояс ледяной водой, Кудрина удивляли его крепкие, налитые мускулы. На вопрос жильца, как ему удалось сохранить силу и здоровье до такого возраста, мсье лениво помял пальцами вялый и жидкий бицепс на руке Кудрина,

присвистнул и произнес с сожалением:

— Хе-хе! .. Нет гимнасток, мсье Кудринь... гимнастика Характерное отличие вашего народа. Сердца из стали, тела из желе. Вы всю жизнь думаете, как осчастливить мир, но не принимаете душа по утрам и не разминаете мускулатуры. От этого вы начинаете искать своего бога там, где его нет — в книжках. От неумеренного. пользования книжками у вас, кроме мускулатуры, размягчаются мозги, и в сорок лет вы заканчиваете жизнь, не успев спасти мир, но потеряв зубы и бодрость... Вы любопытный народ!

Кудрин вспыхнул, ответил мсье Дениво колкостью насчет благополучного буржуа, которому мускулы заменяют мозг, но над словами швейцарца задумался и, приобрел пару небольших гантелей, стал тайком от хозяина заниматься по утрам гимнастикой. После переезда во Францию он не забросил. гимнастику. Она стала для него такой же необходимой привычкой, как для курильщика утренняя папироса.

Проделав все упражнения, он принял в ванной холодный душ и, освеженный, чувствуя, как в теле играет каждый мускул и гудит взбудораженная кровь, вернулся в кабинет и сел за стол разбирать бумаги. Отложив одну, которая требовала срочного ответа, он взял лист из блокнота и стал составлять черновик. Занятый этим, он не заметил, как вошла Елена. Только в ответ на ее «доброе утро» он отложил перо и оглянулся.

Елена вошла в ситцевом халатике, наброшенном на плечи. Стриженные волосы ее, смоченные водой, были гладко зализаны кверху. Солнечный свет розовел на полных оголенных руках и икрах ног. Она была красива красотой здоровой тридцатидвухлетней женщины, несколько пышной и громоздкой, но все же привлекательной. Но сама она презирала эту красоту, как что-то стеснительное, мешающее ей жить по установленным для себя законам. И она нарочно носила простецкую, зализанную прическу, мешковатые, бесформенные платья, подражала мужским манерам и всякий намек на то, что она интересна как женщина, принимала за оскорбление. И в брачных отношениях она была равнодушно-холодна, относясь к ним, как к неизбежной, но не увлекающей ее обязанности.

— Что ты поднялся в такую рань? — спросила она, протягивая руку Кудрину. Она никогда не позволяла себе целоваться с ним утром, считая это излишней телячьей нежностью.

— Что-то не спалось — ответил Кудрин.

— Чай на столе! Иди, пей... Я сейчас оденусь.

Кудрин вышел в столовую. Самовар шипел на покрытом клеенкой столе. Клеенка была старая, в пятнах, на самоваре застыли мутные натеки. Кудрин сжался. Он давно настаивал на замене этой испятнанной клеенки, прожженной в одном месте утюгом, — скатертью, но Елену это не волновало, как не волновало и то, что самовар был грязен и запущен.

— Феня! — сказал Кудрин вошедшей домработнице, стараясь говорить спокойно, — вы не

могли бы хоть раз в неделю почистить самовар?. Стыдно ведь на стол поставить. В захолустном трактире и то чище. Возьмите на кухню и приведите его в порядок.

— Слушаю, — ответила Феня, недоуменно взглянув на хозяина и почуяв, что он с утра «не в себе». Она унесла самовар. Кудрин взял с тарелки кусок хлеба и стал делать себе бутерброд.

Появилась Елена, уже одетая в свое затрапезное платье.

— А где же самовар? — спросила она.

— Я просил Феню вычистить его, он же в невозможном виде. Не можешь ли ты требовать от Фени соблюдения элементарной чистоты в доме? Право же, неприятно, когда на столе вместо самовара какой-то мусорный ящик.

Елена округлила глаза.

— Что это с тобой? С левой ноги встал?.. Подумаешь, какая важность, что самовар не начищен, как сапог. У Фени и без того хватает работы, и я не стану эксплуатировать человека для ежедневной чистки самоваров в твоё удовольствие. У нее должно быть свободное время для политического развития... И что за беда? Внутри самовар чистый. Что ж тебе еще нужно?

— Но противна же грязь... эта прогнившая клеенка времен очаковских и покоренья Крыма... плохо вымытые стаканы.

Елена пристально посмотрела на Кудрина, прищутив веки.

— Знаешь, что я тебе скажу, Федор!... Не полезно ли было бы тебе на некоторое время бросить твое канцелярское болото и пойти куда-нибудь на производство, к станку... орабочиться? Ты забюрократился, обмещанился.

Кудрин отодвинул стакан и взглянул на Елену с сожалением:

— Ты понимаешь, какой вздор ты говоришь?.. Если я хочу, чтобы у меня в доме была чистота, то я забюрократился?

Елена с явным превосходством повела плечом:

— Всегда начинается с чистоты, уюта, идут крахмальные скатерти, фарфор, потом нужна мебель красного дерева, бархатные портьеры, люстры. Потом к этому еще размалеванная дамочка, как у твоего Половцева, и, наконец, растрата, суд и вылет из партии... Самая обычная история!

Кудрин расхохотался.

— А ты не можешь себе представить, что можно жить с чистыми скатертями, хорошими севрскими чашками, но без растрат и разврата?

— Нельзя! Одно тянет другое. Со скатерти начинается, а под скатертью оказывается топь, которая затягивает... Мне противно видеть, что у тебя растут накопительские замашки, стремление к «красивой жизни».

Кудрин промолчал, пока вошедшая Феня поставила на стол несколько отчищенный от потеков самовар. Когда она вышла, он сказал:

— У меня накопительские замашки, а у тебя запоздалая и вредная отрывка нигилизма. Твои якобы пуританские каноны ничего общего с большевизмом не имеют. Мы работаем и боремся за то, чтобы создать для всего народа, для всех трудящихся чистую, хорошую, комфортабельную жизнь. в которой все будет красиво. А ты проповедуешь отвратительное кривлянье. Ты не ведешь за собой, а приспособляешься к наиболее косному и отсталому, которое хочет продолжать сидеть в темноте и в грязи, в какой держал трудящихся капитализм... Однажды покойного Жореса на одном из съездов Интернационала упрекнули в том, что он приехал в вагоне первого класса и поселился в дорогом отеле. Он ответил, что посвятил свою жизнь борьбе за то, чтобы весь пролетариат. ездил в первом классе и мог жить в хороших отелях. И был прав. Если я честно делаю мое дело революционера и коммуниста, то хоть бы я спал на королевской золотой постели — это революции не повредит.

Елена снова пожала плечами:

— Да, если весь пролетариат тоже будет спать на королевских постелях. А пока этого нет...

— Погоди, — перебил Кудрин, — я привел крайний пример. На сегодня, как сказал Маяковский, мне, кроме свежeweымытой рубашки... чистого самовара и незадрипанной скатерти, ничего не надо. Это не роскошь, а гигиена. Мы внушаем рабочему классу, что лишь в нормальных и здоровых условиях жизни он сможет не только удержать власть, но и построить могущественное государство Советов.

— Начинается законом гигиены, — упрямо повторила Елена, — а кончается скатыванием в мещанское ожирение и застой... и оставим этот бесполезный спор.

Кудрин сердито замолчал, размешивая ложечкой сахар. Его неприятно укололо замечание Елены о «размалеванной дамочке» Половцева. Оно было злое и неверное. Артистка драматического театра Маргарита Алексеевна Бем, с которой профессор всюду открыто появлялся, как с женой, никак не подходила под грубую кличку, данную Еленой. Кудрин неоднократно встречал Половцева с Маргаритой Алексеевной, несколько раз заезжал вместе с ним к Маргарите Алексеевне домой и был приятно поражен каким-то особенным уютом и девической скромностью ее маленькой квартиры. В ней не было ничего от ненавидимых Кудриным мещанства и обывательщины. Две светлые, строгие комнаты, рояль, картины известных художников, в большинстве подарки авторов с надписями; почти хирургическая чистота и сама хозяйка, скромная, миловидная женщина с вдумчивыми серыми глазами, которая удивительно тактично и умно держалась с Кудриным, начальником Половцева по работе.

В обращении Маргариты Алексеевны с большевиком, бывшим комиссаром гражданской

войны, награжденным орденом Красного Знамени за штурм Кронштадта, не было ничего напоминающего поведение жен других специалистов, в домах которых приходилось бывать Кудрину. Там он встречал чаще всего затаенную боязнь или принужденно ласковое заискивание, желание угодить человеку; от которого зависела теперь служебная карьера мужей. В других случаях с ним держались настороженно и неловко, как будто опасаясь, что он вдруг выхватит шашку и начнет рубить буржуев. Хуже всего было там, где он чувствовал за фальшивыми улыбками спрятанное презрение к хаму, которого непонятная судьба вознесла на высоту, такую высоту, что приходится, поджимая от злости губы, но наружно вежливо принимать его у себя за столом.

У Половцева он чувствовал себя свободно и просто, Маргарита Алексеевна не делала никакого различия между Кудриным и другими своими гостями и друзьями — крупными художниками, писателями, артистами, учеными. Обо всем, чем жила страна, она имела свое самостоятельное мнение, иногда положительное, иногда резко критическое, но без злорадства и всегда умное. Вначале Кудрин думал, что Маргарита Алексеевна просто повторяет слышанное от Половцева, но однажды в его присутствии она вступила в жестокий спор с профессором по поводу путей развития театра и в этом споре разгромила противника наголову. Эта самостоятельность и оригинальность мысли заставили Кудрина относиться к Маргарите Алексеевне с дружелюбным уважением. Бывая у нее, Кудрин не раз ловил себя на мысли, что он был бы очень рад, если бы у него дома была бы такая же непринужденная, свободная, культурная атмосфера.

Он допил чай. Подошел к окну и выглянул. День был солнечный, прозрачный. «На выставку лучше всего будет поехать в полдень, когда будет побольше света», — подумал он, взглянув на Елену и почувствовал по ее поджатым губам и напряженной позе, что она обижена происшедшим разговором. Он подошел к ней сзади и ласково положил руки на ее плечи.

— Ты куда не уходишь утром?

— А что? — спросила Елена.

— Я хочу проехать на выставку в зале поощрения художеств. Я вчера побывал там мимоходом, и мне понравилась одна работа. Хочу разглядеть ее повнимательней. Может, проедешь со мной?

Елена сделала гримаску:

— Картинки?.. Мне нужно к докладу подготовиться. Завтра на «Красной игле» ответственное выступление.

— Но успеешь же вечером... Тебе не вредно встряхнуться.

— Ну, если тебе это доставит удовольствие, — не возражаю. Только недолго. Вряд ли там

есть что-нибудь доящее внимания. Буржуазные игрушки! Пустая забава!

— Ладно! — сказал Кудрин. — Тогда я сейчас вызову машину на полдень.

Он пошел в кабинет, но в дверях неожиданно обернулся.

— Кстати, — внезапно спросил он, вспомнив шамуринскую гравюру, — ты читала «Белые ночи» Достоевского?

— Нет, — ответила Елена, — А почему ты спрашиваешь?

— Ничего, просто так, — сказал Кудрин, закрывая дверь кабинета.

Он позвонил в гараж, заказал машину, положил трубку и несколько секунд постоял, как будто силясь вспомнить что-то нужное. Ему захотелось, прежде чем ехать на выставку, перечитать то место повести, к которому относилась гравюра. В молодые годы он читал повесть, но она как-то слабо удержалась в памяти. Дома Достоевского не было, но Кудрин вспомнил, что площадкой ниже живет молодой литературовед и критик, доцент университета Дергачев. Кудрин вышел на лестницу, спустился на этаж и позвонил, как было указано на двери, тремя долгими звонками. Дверь открыл сам Дергачев, пухлый, холеный, немного косящий одним глазом. Узнав о цели прихода Кудрина, он любезно вынул из книжного шкафа томик Достоевского и вручил гостю. Поблагодарив, Кудрин вернулся к себе и, сев в кресло у окна, стал искать нужное место. Найдя его, он медленно, вполголоса прочел его себе вслух:

«...Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина; облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в премиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантилке. «Это девушка, и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется не слышала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и с сильно забившимся сердцем. «Странно! — подумал я,— верно, она о чем-нибудь очень задумалась», и вдруг я остановился как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да! я не обманулся: девушка плакала, и через минуту еще и еще всхлипывание. Боже мой! У меня сердце сжалось. И как я ни робок с женщинами, по ведь это была такая минута!.. Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес «Сударыня!» - если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но покамест я приискивал слово, девушка очнулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички».



Кудрин дочитал и положил книгу на подоконник. Это окно кабинета выходило на соседний пустырь. За пустырем ровной, скучной стеной тянулись дома; над домами в голубоватой дымке мерцала золотом игла Петропавловской крепости. За ней, невидимая из окна, широко разлеглась меж берегов Нева, а дальше в центральной части города, окаймленные чугунными кружевами решеток, протекали речки и каналы петровского парадиза.

Кудрин закрыл глаза, и в красноватой мгле с жестокой ясностью перед ним появилась черная решетка, серо-сиреневая, стылая вода, глухая стена с трупными пятнами отсыревшей штукатурки. Беловато-зеленым пятном мелькнуло скорбное лицо девушки. Он почти физически ощутил этот траурный, странный пейзаж.

Внизу заревела автомобильная сирена. Водитель давал знать о себе. Кудрин позвал Елену, подал ей пальто, и они спустились на солнечную, весело шумящую улицу.

4

На выставке, как и предполагал Кудрин, народу, несмотря на праздничный день, было немного. Графика не пользовалась популярностью у зрительской массы. В большом зале едва насчитывалось три десятка посетителей.

Присматриваясь к ним, Кудрин заметил среди нескольких обывателей неопределенного вида и профессии, то рассеянно, то растерянно глядящих на экспонаты, — группку стриженных по-мальчишески девчушек, в коротеньких по моде юбочках, открывающих худосочные питерские ноги. Кудрин с первого взгляда узнал их. Это были представительницы той категории «восторженных», которая обожает всякое искусство. Обожают бестолково, но совершенно бескорыстно и пламенно. Таких девушек всегда можно было встретить на премьерах театров, на концертах отечественных и иностранных музыкальных знаменитостей, в студиях художников, в обществе молодых длинноволосых лирических поэтов, всюду, где так или иначе склонялось слово «искусство». Не сеющие и не жнущие, питающиеся бог знает чем, а главным образом воздухом, эти девушки порхали везде, как беспечные птицы, гордясь своей соприкосновенностью с искусством и его представителями, с беспечной легкостью и бездумностью становясь мимолетными подружками поэтов и художников, не претендуя ни на что, кроме полусвета задрапированной лампочки в мастерской молодого художника или романтическом логове поэта. Несколько бутербродов, рюмка недорогого вина, порция пылких поцелуев давали им полную радость бытия.

Они кучкой блуждали по выставке, чирикавая по-воробьиному, о художниках говорили с почтительной нежностью, называя своих друзей уменьшительными именами: «Это Васина работа прошлой осени» или «Петруша при мне резал эту гравюрку».

Их блужданье и чириканье напомнило Кудрину Париж. Такие же шаловливые, беззаботные, ничего не требующие мидинетки прибегали в обеденный час в промозглые парижские мансарды, принося своим рыцарям, которые питались чаще всего запахом макового масла и надеждами на славу, более питательные субстанции, вроде жареных

каштанов или нескольких сарделек, добытых на трудовые крохи.

Они также называли своих возлюбленных уменьшительными именами и гордились каждым их успехом, бегая по мастерским и выставкам, готовые вцепиться в глаза каждому, кто посмеет неодобрительно отозваться о кубической мазне Ги или Октава.

И Кудрин с легкой грустью и нежностью вспомнил, что, когда он выходил после трудного рабочего дня из электромеханической мастерской, на Авеню де ла Мотт Пике под газовым фонарем, кутаясь в пальтишко на рыбьем пуху от вечернего тумана над Сеной, его самоотверженно ожидала каждый вечер такая же ласковая подружка, худенькая большеротая девчушка со странным для русского слуха именем Селимены. Она вела его в таверну «L'Amiral», где они наспех закусывали, потом провожала до мастерской мэтра. Оставив Кудрина там, Селимена уходила к нему в мансарду готовить ужин.

И когда Кудрин возвращался, измазанный углем и красками, Селимена заботливо поила его жидким кофе, гасила лампочку и беззаботно ныряла под истертое одеяло.

Эта веселая, как птичка, ласковая девушка прошла рука об руку с Кудриным через годы его парижской жизни, и когда он уезжал в семнадцатом году, сорванный с места ветром революции, она провожала его на вокзале и плакала в рукав его пальто, как жена и товарищ. Тронутый этим воспоминанием, Кудрин искоса посмотрел на шедшую рядом с ним Елену. Она шла размашистой мужской походкой, смотря на экспонаты выставки неподвижным; сонно-равнодушным взглядом, в котором выражалось нескрываемое презрительное недоумение: к чему все это?

Она считала, что искусство — удел людей, неспособных к полезной созидательной работе. Такой работой она считала ту, которую делала сама. Все, лежащее за пределами этой работы, было достойно в лучшем случае хронической усмешки, в худшем — презрения. К живописи и скульптуре она относилась еще со снисхождением, поскольку эти жанры можно было утилизировать для повседневных задач агитации и пропаганды. Музыка, опера, балет были ей совершенно непонятны и чужды.

Среди выставленных работ ее внимание и одобрение вызывали те, которые раздражали и злили Кудрина, рождая в нем отвращение.

Ее пренебрежительный взгляд оживился и даже утратил сонное выражение, когда она увидела на одном из стендов большой рисунок углем, под которым стояла подпись, знакомая Кудрину по бесконечным репродукциям выполненных художником портретов вождей революции. По ремесленному бездушию и фотографической зализанности эти портреты очень напоминали лица на вывесках провинциальных парикмахеров, но инстанции, которые занимались снабжением различных учреждений и организаций такими портретами, печатали их в сотнях тысяч экземпляров, и уныло унифицированные на один лад лица смотрели со

стен дворцов культуры, театральных фойе, клубов, залов заседаний, не узнаваемые даже теми, кого они изображали.

Рисунок на стенде изображал первомайскую демонстрацию на Невском проспекте. За первым рядом демонстрантов по проспекту была густо размазана грязноватая масса, похожая на паюсную икру, в которую были густо вклеены квадратики и прямоугольники киновари, изображающие знамена и плакаты. Нарисовано все было небрежно, убого. То ощущение внутреннего подъема и мощного единого движения человеческой массы, одухотворенной общим порывом, которое должно было воздействовать силой искусства на зрителя, — отсутствовало в этой скучной мазне. Кудрину стало противно.

Елена повернулась к нему и с удовлетворенной улыбкой сказала:

— Вот единственная картина, которую можно считать нашей на этой выставке. Все остальное ерунда.

— Тебе нравится? — жестко и зло спросил Кудрин.

— Очень хорошо! — ответила Елена. — Посмотри только, какая масса народа, как ярко горят знамена. Чувствуешь мощь освобожденного от эксплуатации пролетариата. Хочется вмешаться в ряды и идти вместе с ними. А раз есть заражающее, агитирующее начало, значит, картина выполняет свое назначение.

Кудрин ощутил спазму в горле и внезапно хрипло сказал:

— Прежде всего это не картина, а рисунок углем... А потом, неужели ты не видишь, не чувствуешь жалкого бездушия, лживости и халтурного отношения к творчеству. Эта мазня ни пролетариату, да и никому вообще не нужна.

Елена удивленно посмотрела на него:

— Почему ты так злишься?.. У тебя даже губы трясутся. Что тебе сделал этот художник? Чем он плох?

Кудрин понимал, что нелепо срывать раздражение на Елене, когда оно было вызвано художником, но в то же время Елена представилась ему как бы союзником этого ремесленника и подобных ему, малюющих «революционные» сюжетики с той же циничной лихостью, с которой до революции малевали апельсиновые закаты и натюрмортики с убитыми утками для обывательских столовых. И он, еще больше закипая, ответил:

— Если ты ничего не смыслишь в искусстве, то уж смотри молча и не высказывайся. Ты видишь тут мощь пролетариата, и подъем, и вдохновение, и еще черт-те что... А я вижу плохой, невежественный рисунок, халтуру, в которой ни признака мастерства, ни ответственного отношения к творчеству, ни уважения к народу, для которого якобы эта пакость пишется. Это растрление творчества.

Елена вспыхнула:

— Что за тон у тебя? Почему я должна молчать? У меня есть право на мое суждение. Суждение рядового зрителя, не такого высокого знатока, как ты, — она насмешливо подчеркнула слово «знаток». — И я удивляюсь твоему наскоку...

Кудрин смутился. Елена, конечно, была права, .отчитав его. Чтобы скрыть это смущение и разрядить атмосферу, он предложил:

— Хочешь, я покажу тебе единственную на этой выставке работу, которая достойна называться искусством? Пойдем!

И он быстро пошел к тому стенду, где висела шамуринская гравюра. Елена, не торопясь, последовала за ним и подошла, когда он уже снова был во власти странного обаяния этой вещи.

— Вот, смотри! — указал он на гравюру. — Это делал настоящий художник. Это подлинное.

Елена внимательно смотрела на гравюру. Губы ее чуть раскрылись, и в лице появилось выражение напряженного раздумья, от которого даже сошлись ее крутые брови. Казалось, она трудно решала сложное внутреннее недоумение. Но понемногу выражение недоумения сменилось насмешливой отчужденностью.

— Это? — переспросила она.

— Да, это!

Она криво и насильственно усмехнулась:

— Должно быть, ты прав и я решительно ничего не понимаю в искусстве... Особенно в таком искусстве... Что это значит? — спросила она, ткнув пальцем почти в стекло гравюры.

— Как что? — переспросил Кудрин. — Это иллюстрация к одному из проникновеннейших произведений нашей литературы, к «Белым ночам» Достоевского.

Елена усмехнулась еще раз:

— Я уже сказала тебе, что я не читала Достоевского .Да и не стремлюсь, судя по тому, что слышала о нем на партийных курсах... И то, что я вижу здесь, — меня не трогает. Изображена кисейная барышненка, терзающаяся страданиями любви, Нам чужды и эти страдания, и такая любовь. Мы не станем из-за любовных переживаний стоять у речки и думать: броситься ли в воду или купить на пятак в аптеке уксусной эссенции. Мне только смешна эта картина.



Она говорила громко. Пять-шесть художественных девчушек и два скучающих обывателя, услышав ее голос, подошли и вслушивались, — девушки со скептическими улыбочками, посетители благоговейно разинув рты.

Кудрину стало смешно.

— Тебя принимают за пророчицу, — тихо сказал он и добавил громче: — Я ведь говорю тебе не о содержании гравюры. Когда я впервые увидел ее вчера, моей первой мыслью тоже было: «не наше искусство»... Больше того! Если хочешь — прямо враждебное нам искусство... Снаряд, выпущенный по нашим позициям, и снаряд тяжелый потому, что вещь чрезвычайно талантлива и потому вдвойне опасна. Но она неотразимо притягивает своим большим мастерством.

Елена еще раз взглянула на гравюру и отвернулась.

— А меня несколько не притягивает. Пусть то, что ты обругал. мазней, менее талантливо, чем эта гниль, но оно возбуждает во мне сочувствие изображенному, помогает организовать сознание в духе наших идей, и мне пока этого достаточно...

Кудрин махнул рукой.

— Знаю!.. Слыхал! Хоть три сопливеньких, да своих. Но дело в том, что эту гнусную и реакционную теориейку придумал сам сопливенький для оправдания своего существования... Это паскудная ложь! .. Нам не сопливые нужны! В искусстве нам нужны мастера с более честными и более сильными талантами, чем мастера капиталистического мира, где искусство служит богу злата. Только силой нового, нашего искусства мы сможем победить старое.

— Но у нас таких мастеров еще нет, — сказала Елена.

— И поэтому ты считаешь возможным одобрять и плодить халтурщиков и приспособленцев, которые дискредитируют наше искусство?

Не ответив на его вопрос, Елена в свою очередь спросила:

— Объясни мне, пожалуйста, чем ты так восхищен в этом произведении?

Художественные девушки и обыватели придвинулись вплотную. Видимо, их заинтересовал спор.

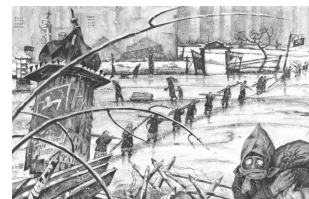
— Хорошо! — сказал Кудрин. — Об этом я думал вчера и повторю тебе сейчас. Я сравниваю эту вещь неведомого художника с вещами художников весьма маститых и широко известных по околачиванию порогов в передних всяких руководящих органов и товарищей, которые выпрашивают заказы и подрабатывают. Все они до мозга костей «гражданины», все, как мумия бальзамом, пропитаны революционным мировоззрением и «диалектическим материализмом», хотя понимают в нем меньше, чем свинья в апельсинах. Они тебе в течение месяца отшлепают на саженом полотне что твоей душе угодно. Расстрел так расстрел, заседание так заседание, борьбу за что угодно или против чего угодно, лишь бы исправно платили. И все это пишется без всякого соприкосновения с натурой, по плохим фотографиям, наспех, с великолепным презрением к серости заказчика, который в искусстве «ни бе ни ме» и слопаёт все, что ни подадут проворные попутчики... И вот — эта гравюра. Ее автор наверняка не обивал ничьих порогов и ни в чем не клялся. Сидел над досками, не разгибая

спины, может быть — впроголодь, но работал честно и правдиво..

— А откуда это тебе известно? — сухо осведомилась Елена.

— — Вижу по качеству работы... Все же я был художником,— с внезапной горечью ответил Кудрин, — и вот то, что я увидел здесь,

поразило меня. Я знаю, что по духу автор этой гравюры чужд нам, даже, возможно, открыто враждебен. Но посмотри, с каким настоящим пафосом и силой он выразил безысходную обреченность свою и своего класса. Тупик, и за ним только пропасть, только эта зловонная глубина канала. Выхода нет!.. В этом творческом взлете, в яркости передачи внутреннего движения человеческой души, мысли, в концентрации чувства и есть подлинное искусство. Вот почему я ставлю эту глубоко чуждую мне всем своим направлевец выше всех вот этих грошовых «октябрин в клубе», «Калинычей на родине» и прочего ремесленничества. Здесь искусство — там малярство.



— Одна из художественных девушек с рыжей челочкой на лбу захлопала в ладоши. Кудрин обернулся.

— Здесь, гражданка, не театр... Держите ваши эмоции при себе, — сказал он, покраснев.

Елена смотрела на него с обидным сожалением.

— Зашился, Федор! — протянула она не то с досадой, не то с удивлением. — Едем лучше домой. Больше здесь смотреть нечего, а сговориться мы не сговоримся. Как бы твои теории не довели тебя до плохого.

— Ладно, поедем, — ответил Кудрин, остывая.

Они прошли мимо шептавшихся девушек и стали спускаться по лестнице, Вдруг Кудрин остановился:

— Подожди меня минутку в машине, Елена. Я сейчас...

— Что ты еще затеял? — спросила она уже тревожно.

— Пустяки! Один вопрос...

Он взбежал по ступеням обратно и подошел к кассирше.

— Простите за беспокойство... Какая цена номера триста шестьдесят девять? Автор Шамурин.

Мысль приобрести эту гравюру пришла ему в голову совсем неожиданно, пока он спускался к выходу. Зная, что цены на современные картины и гравюры невысоки, он подумал, что не сделает никакой брешки в бюджете, приобретя вещь, которая украсит его пустой кабинет.

Кассирша предупредительно открыла каталог с отметками цен, перелистала его и подняла на Кудрина блеклые глаза человека, обиженного жизнью и осужденного на тоскливое сидение за столиками выставок. Видимо, сама удивляясь непредвиденному обстоятельству,

она робко сказала:

— Извините, гражданин!.. Не продается!

— Как не продается? Почему? — опешил Кудрин.

— Не знаю... Вот написано: «Не продается. Собственность художника».

Кудрин помолчал секунду, соображая.

— А адрес художника вам известен?

Кассирша открыла лежавшую слева от нее ученическую тетрадку, порылась в ней и, наконец, назвала Кудрину глухой переулочек в конце Мойки, там, где над нефтяной радугой воды, в течение столетий, могучей дугой выгнулась великолепная арка Деламота.

Кудрин записал адрес и сбежал вниз.

— Что у тебя там? - встретила его Елена.

— Курьезная история, - ответил он, я хотел приобрести эту гравюру, но вопреки ожиданию она не продается.

— Ку-пить??? Да ты совсем свихнулся, Федор. Право, тебя надо вздрючить. Картинками задумал украшаться? И какими!.. Зачем?

Кудрин не ответил. Машина быстро летела к Невскому, свистя покрышками по свежим торцам мостовой, и задержалась на перекрестке. Кудрин услышал, что его окликают с тротуара. Подняв голову, он увидел Половцева, машущего ему рукой с тротуара. Рядом с ним стояла Маргарита Алексеевна в легком весеннем пальто с кротовым воротником и в лиловой фетровой шляпке. Кудрин снял кепи и поклонился Маргарите Алексеевне. Половцев подошел к машине, поздоровался с Кудриным . и Еленой, широко отмахнув вбок шляпу.

— Дорогой шеф, куда вы пропали? — заговорил Половцев, — Я звонил вам без результата и уже собирался ехать к вам, Утром мне позвонил дежурный по управлению. Есть телеграмма на ваше имя из Москвы. На завтра в малом Совнаркомке рассмотрение нашей дополнительной сметы. Значит, надо сегодня выезжать.

— Да? .. Вот это отлично! Прокатимся, встряхнемся, — сказал Кудрин, обрадованный перспективой побывать в Москве.

— Я уже заказал билеты, — продолжал Половцев.— Вечерком прямо приезжайте на вокзал. — А сейчас вы куда?

— Да вот собирался на трамвае к вашей милости, а теперь остается направить стопы домой.

— Тогда садитесь. Я вас довезу, что ж вам пешком мотаться? — Мерси!.. Рита!. — позвал Половцев. Маргарита Алексеевна сошла с тротуара и направилась к машине. Кудрин открыл дверцу.

— Познакомьтесь... Маргарита Алексеевна Бем... Моя жена — Елена Афанасьевна.

Знакомя женщин, Кудрин с любопытством посмотрел на Елену. Она небрежно пожала

затянутую в серую замшу руку актрисы и окинула ее с ног до головы отчужденным взглядом, каким смотрела вообще на женщин, не имеющих партбилета, которые, по ее мнению, были только бесполезными самками, то есть той породой, которую Елена считала ненужной и тормозящей развитие революции.

«Вот ты какая! — казалось, говорил этот взгляд.— В шелку и мехах, и губы подкрашены, и красива, а все же это не меняет дела и для меня ты существо низшей породы».

Этот взгляд Елены подметил и Половцев и незаметно лукаво подмигнул Кудрину. Машина тронулась, и сейчас же Половцев заговорил о всяких будничных пустячках, чтобы рассеять ощущение возникшей неловкости и избавить женщин от необходимости разговаривать. Он без умолку болтал до самого дома, перескакивая с предмета на предмет.

— Значит, вечером на вокзале, — повторил он, помогая Маргарите Алексеевне выйти из машины.

— Да, конечно!

Профессор помахал рукой вслед машине.

Кудрины ехали молча. День после вчерашнего холодного ветра потеплел, и голубой, упругий майский воздух обвевал лица теплым и нежащим дыханием.

На мосту Елена разжала строго стиснутые губы.

— Это и есть любовница твоего спеца? — спросила она.

Кудрин возмутился.

— Почему «любовница»? — сурово спросил он.— Неужели то, что она живет с человеком, не записав своих отношений на бумажке, делает ее недостойной уважения. Фактический брак признается нашим законом, как и зарегистрированный. Я думаю, что твоя фраза неуместна в устах члена партии.

Елена вдруг зло усмехнулась:

— Ого! Вижу, что ты, кажется, втрескался: хороша кошечка! Духи, наряды, чулочки, драгоценности... Шикарно отбить любовницу у спеца... Но когда сядешь на скамью подсудимых, на меня не рассчитывай.

Кудрин обернулся и поглядел на Елену так, словно впервые увидел женщину, с которой прожил много лет.

— Никогда не думал, что ты так ограниченно злобна, — сказал он, подчеркивая с каким-то удовольствием обидные слова, — Стоит слегка поскрести — и из-под партийного билета, из-под тоненькой пленки заученных истин вылезает самая обыкновенная баба.

Елена не ответила, и до самой квартиры они ехали молча. У ворот Елена сказала мужу:

— Если тебе не нужна машина, пусть товарищ Григорий отвезет меня. Мне нужно заехать к Семену.

— Пожалуйста, — ответил Кудрин, вылезая из машины, и, не оборачиваясь, вошел в подъезд.

5

На вокзал Кудрин приехал за три минуты до отхода скорого. Заграница приучила его к этой точности, и он не терпел российской привычки являться на вокзал со сверточками и кулечками за полчаса, томиться и ждать спасительного третьего звонка.

Половцев уже расположился в купе, обложенный купленными на дорогу в киоске газетами и журналами.

На столике горела лампа в бронзовом колыячке, постели постланы, и кругом был привычный комфорт международного вагона. Кудрин бросил портфель на верхнюю койку и сел рядом с профессором.

— Есть что-нибудь новенькое? — спросил он Половцева, указывая на журналы.

— По нашей части ничего... Есть одна занятная статья в «Рабочем и театре». Но для вас театр материя неинтересная. Впрочем, хотите — читайте.

— Нет! — отстранился Кудрин. — Это действительно для меня. Я с театром прочных связей не имею.

— На том свете, если верить бабушкам, вам, дорогой шеф, будут колоть язык горячими булавками, — засмеялся Половцев, смутив Кудрина, который понял, что, сам того не желая, попал в чувствительное место профессора.

— Честное слово, Александр Александрович, я вовсе не хотел... — начал он, но Половцев остановил его:

— Верю, верю... Не оправдывайтесь, а то хуже будет.

Поезд, ускоряя ход, громыхал и звякал на выходных стрелках. В купе вошел проводник и, отобрав билеты, принес два стакана чаю с печеньем. Кудрин сел пить чай, а Половцев, усмотрев в коридоре какую-то привлекательную попутчицу, тотчас же отправился, как он выразился, на «буровую разведку». Отхлебывая тепловатый чай, Кудрин смотрел через зеркальный прудок оконного стекла на несущиеся мимо тусклые оранжевые огоньки предместий. За тощими осинами перелеска показались черными призраками фабричные трубы. Поезд, лязгая, пронесся мимо деревянной платформы, на которой одиноко стоял дежурный в красной фуражке, с фонариком, мигающим от вихря, поднятого вагонами. Промелькнула надпись «Фарфоровский пост». За этой надписью, за домиком полустанка, в ночи разлегся массивными корпусами, сверкая глазами окон, завод, заложенный еще Ломоносовым, основное и самое мощное предприятие треста.

Кудрин взгляделся в темноту. Над корпусами стояло розоватое зарево печей, отражаясь в низких лохматых тучах. Кудрин удовлетворенно вздохнул, как хозяин, который обнаружил,

что в хозяйстве царит порядок и все идет по налаженным рельсам.

В купе вошел Половцев.

— Ну как ваша буровая разведка, Александр Александрович? — усмехнулся Кудрин.

— Неважно, — поежился профессор, — порода твердая, руда залегает на большой глубине, разработка невыгодна, — сказал он серьезным тоном инженера, докладывающего о произведенной разведке. — Давайте, Федор Артемьевич, проглядим еще разок матушку-смету и прикинем, что можно уступить совнаркомцам, а что будем отстаивать на живот и на смерть. Иначе нельзя... Не запросишь — не вырвешь!

Он вынул из портфеля разграфленные листы сметы и разложил их на диване между собой и Кудриным.

— Номер первый, — продолжал он, — капитальное переоборудование гончарного цеха... Отстаивать?

— Конечно! — ответил Кудрин. — На этом пункте я не сдамся. Мы от заграницы на триста лет отстали... Срамота!

— Добро!.. Смена электрооборудования?

— Поставьте птичку, — ответил Кудрин, — тут, видите, какое соображение... Хоть и моторы при последнем издыхании и проводка гнилье, но годика два еще будем на тришкин кафтан латки ставить домашними средствами... А к тому времени наша промышленность начнет давать отечественные электромоторы. Иначе придется валюту бросать.

— Ладно! — Автоматическое перо Половцева вывело против графы аккуратную птичку.

Они постепенно перебрали пункт за пунктом всю дополнительную смету, иногда молча соглашаясь, иногда вступая в спор. Наконец Половцев сказал:

— Слава Марксу и Энгельсу — последнее. Ну это, я думаю, можно отдать без обсуждения.

Он с видимым облегчением сложил листы и сунул их в портфель.

— Спать?! — произнес он полувопросительно-полуутвердительно и, не ожидая ответа Кудрина, снял пиджак и развязал галстук.

Поезд, замедлив ход, переползал через Волхов по дряхлому, вздрагивающему мосту. Кудрин забрался на верхнюю полку, Через несколько минут, он услышал снизу голос Половцева:

— Разделись?

— Да!

— Можно гасить свет?

— Пожалуйста!

Щелкнул выключатель, и купе озарилось слабым и нежным голубым огоньком ночника. Кудрин вытянулся во весь рост, радуясь свежести чистого, чуть приивающего хлором белья.

Внизу чиркнула спичка, и он уловил ароматный медовый запах иностранного табака. Технический директор имел привычку перед сном выкуривать «на закуску» английскую сигаретку после того, как весь день тянул, не выпуская мундштука изо рта дым «Сафо».

И словно с этим чужим, приторным ароматом пришло воспоминание о незаконченном споре, Кудрин приподнялся на локте и спросил:

- Вам спать не очень хочется? .

— Мгм,— промямлил Половцев, наслаждаясь курением.

— Тогда поболтаем... Не возражаете?

— Угу — донеслось снизу,

— И вот о чем... Помните позавчерашний разговор, О Туткове... алиментах... мещанстве.?

— Ага!

— Вернемся к нему... Знаете, что меня поражает в вас, Александр Александрович?.. В вас, да и вообще во многих специалистах, пришедших работать с нами. Ведь умные же вы люди! Ум у вас тренированный поколениями, гибкий, иногда до отвращения гибкий. Но как только доходит дело до политической темы, вы... как бы сказать повежливее... ну сразу... тупеете, что ли?

— Благодарю за любезность. — Половцев сразу обрел способность изъясняться членораздельно. — В каком же это смысле?

— Да в самом прямом. Вот вы способны развивать передовые идеи и в механике, и в физике, и в музыке разбираетесь, и в театре, и можете подать дельную мысль, а как коснется политики, общественных дисциплин... тпру. Черт знает, в чем тут причина? То ли в полном отсутствии политического воспитания в дореволюционных школах и высших учебных заведениях... то ли еще в чем? И самое забавное, что вы не только в революционных, но и в реакционных идеях ничего не смыслите. Стоит с вами заговорить на общественно-философском языке, вы сразу порете чушь!

— Это когда же вы заметили?

— А тогда же!.. Вы вот упрекнули меня, то есть нас, большевиков, партию, что мы обманули мещан невыполнимыми посулами и теперь негодуем на них за то, что они сразу хотят жить по программе максимум обещанного.

— Угу, — односложно подтвердил профессор.

— Ио ведь чепуха же это! Чепуха!.. И в самой постановке вопроса. Когда мы обещали что-нибудь мещанам? Где? Да разве самый наш выход на сцену мировой политики не был с первого часа войной и вызовом мещанству? Если мы что-нибудь обещали, то обещали своему классу, пролетариату. И этот наш класс отлично понимает наши затруднения и сознательно идет на лишения, ограничивает себя во всем ради будущего, пока не изменятся общие

условия, пока не утвердится прочна советская система... А мещанам мы обещали только, что мы их истребим, и это обещание сдержим, как и остальные.

— Хм, — отозвался Половцев, пыхнув дымом,— отлично! Хорошо уж то, что вы признаете нас не дураками. И то, что я говорю, не так глупо, как может показаться попервоначалу. Я способен понять, что вы давали обещания пролетариату, а не кому другому. Но, во-первых, этого пролетариата, то есть рабочего класса, в нашей стране, с ее косолапой кустарной промышленностью, имеется по самой благожелательной переписи два с половиной — три миллиона на сто сорок миллионов населения вообще.

— Что же, по-вашему, все остальные сто тридцать семь — мещане?

.— Избави бог, — ответил после паузы Половцев,— с этого счета приходится сбросить миллионов девяносто крестьянства. Крестьянство загадочно... Нет, погодите бросать мне упреки в отрывке славянофильского мистицизма, утверждающего таинственную духовную миссию русского мужика, который должен очистить мир от скверны. Мое положение не истекает из формулы: «умом России не понять». Крестьянство двойственно.

С одной стороны, собственнические инстинкты и страсть к накопительству, к кубышкам в подполе — от мещанства. С другой, у крестьянства есть своя суровая и способная на самоограничения этика. А люди, способные на самоограничение, не мещане. Отличительная черта мещанина понимать свободу как разнузданную анархию, как синоним «все позволено». Самые отъявленные и паршивые мещане — анархисты и их духовный папаша людоед Ницше. Крестьяне не терпят анархистов, исключая батьку Махно, на что были особые причины, пока украинские мужички не разобрались в том, что батько вообще не политик, а сволочь. И крестьяне никогда не будут читать Ницше... Так вот сбросим со счетов мещанства крестьян... Остается...

— Остается, — перебил Кудрин с веселым и злорадным смехом, — третье сословие, умственная прослойка, ваш брат, интеллигенция. С чем вас и поздравляю.

Половцев завозился внизу.

— Не торопитесь поздравлять, уважаемый шеф, не торопитесь, Вперед батька в пекло прыгать не стоит... Прежде всего — что такое интеллигенция?

Кудрин расхохотался.

— Профессорская метафизика?! Что есть веревка-вервие?

— Нет, не метафизика. Пустил проклятый памяти Пьер Боборыкин дурацкое словцо, и на радостях стали его лепить направо и налево, не задумываясь о логике. У нас царствует убеждение, по если человек обучился сморкаться в носовой платок и состоит в союзе сотворгслужащих, то он чистый интеллигент. Абсолютнейший и вреднейший вздор!.. Полная путаница понятий... Да вот вам пример. На днях пришлось читать в «Известиях» статью

Заславского об одном судебном процессе. Ведь, кажется, квалифицированный журналист. А пишет что: «Обвиняемый — интеллигент по происхождению, сын зубного врача». А? Каково! Если индивидуум имел счастье вырасти по соседству с ведром, куда его папаша бросал вырванные зубы, — он интеллигент... А начальник нашего конструкторского отдела Бурков, умница, талант, автор научных трудов не интеллигент? Почему? Потому, что происходит от обыкновенного слесаря?

— Бросьте, Александр Александрович! Вы запарились, — сквозь смех сказал Кудрин.

— Нет, не запарился! И не брошу! Если бы на скамье подсудимых сидел Бурков, тот же Заславский написал бы: «подсудимый по происхождению рабочий». А Бурков в десять тысяч раз больше интеллигент, чем неведомый отпрыск зубного врача.

— Не пойму, что вы стремитесь доказать?

— Погодите, — Половцев замолчал и вдруг выругался: — Черт подери, раздражили вы меня, придется опять закурить.

Он зажег спичку, затянулся и продолжал:

— Знаете, Федор Артемьевич, сколько у нас сейчас подлинной интеллигенции в высоком смысле этого слова? Ничтожная горстка. Кто интеллигент? Тот, кто несет в жизнь или сам создает интеллектуальные ценности, движет вперед культуру. Человек науки, инженер, врач, художник, педагог. А мы стали называть интеллигентом любого Акакия Акакиевича, который сидит на входящих и исходящих и вечерами ходит в кино смотреть «Атлантиду» и «Тайны Нью-Йорка». Огромная группа, выполняющая подсобные функции, выполняющая волю высшего интеллекта, еще не имеет права на звание интеллигенции.

— Договорились!— сказал Кудрин. — Весьма допотопно получается... Спартиаты и плоты.

— А я слов не боюсь, — огрызнулся Половцев.— Если бы проводимое мной разделение лишало эту группу какой-либо части гражданских прав — это было бы допотопно. Но я лишая ее только незаконно присвоенного звания, Вы же лишаете некоторые группы населения не только права именоваться гражданами, но и многих существенных материальных и прочих прав и не считаете это допотопным. Так вот, я хочу сказать, что вышеназванная категория промежуточных индивидуумов и является подлинным источником контингентоз мещанства.

— Ха-ха-ха! — расхохотался Кудрин. — Изрек — и доволен... Ну, а скажите, мудрец, вот я, Федор Кудрин, сорока двух лет от роду, сын железнодорожного машиниста, член партии, — кто я, по-вашему? Пролетарий? Интеллигент? Мещанин?

— Повторяю, происхождение не играет роли. Но прежде всего каждый член партии — интеллигент, поскольку вся его деятельность направлена на разрешение общественно-

философских проблем и практическое применение их в государственной и общественной жизни... А помимо партийной принадлежности, у вас есть какая-нибудь специальность?

— Механик-монтер.

— А еще?

— Художник, — совершенно неожиданно для себя ответил Кудрин.

— Значит, прямой, явный и окончательный интеллигент.

— Это что же: плохо или хорошо? — спросил Кудрин с деланной усмешкой, досадуя на себя за внезапно вырвавшееся слово.

— По-моему, хорошо... Не знаю, как по-вашему. Вы же вбили себе в голову и продолжаете вбивать народу, что все беды идут от интеллигенции, не уясняя себе, да что же представляет собой этот страшный жупел.

— Ну, это вы, Александр Александрович, попросту клеветнически врете. Нашей интеллигенцией, которая идет с нами, мы дорожим, и вы на себе это видите.

Половцев не ответил. Под полом вагона мерно постукивали колеса, В щели шторы замелькал свет, лязгнули стыки, и поезд остановился.

— Бологое, — сказал Кудрин.

Половцев, встал и надел пиджак, наспех зашнуровал ботинки.

— Пойду рюмку водки хвачу... Растравил душу! Он вышел. Кудрин заложил руки за голову и закрыл глаза. От спора с Половцевым ему стало нехорошо. Профессор выезжал на парадоксах, как жокей на цирковом коне. Было много словесного блеска, акробатики мысли, но в конце концов за этим была пустота и цинизм опустошенного человека. Поезд снова тронулся. Половцев вошел, разделся и спросил:

— Ну как, Федор Артемьевич, не надоело вам? У меня охота продолжать дискуссию.

— Валяйте, — лениво отозвался Кудрин.

— Вернемся к нашим барашкам. В начале нашего разговора вы изволили сказать, что ничего не обещали мещанам, кроме полного истребления этой человеческой разновидности. Но беда в том, что, отменив все сословия, вы отменили и мещанина. И он стал неуловим для бдительного государственного ока.

— Вы что же думаете, что мещанин определяется по паспорту?

— Не так наивен! Это фигурально. Дело вот в чем. Мещанин наиболее приспособляющееся животное из всех известных зоологии видов, А кроме того, он страдает нищенским самовозвеличением. Каждый мещанин думает, что он — единственный, а земля его достояние. Мещанин с невероятной ловкостью окрашивается под эпохиальное понятие о верхушке человечества. В наши дни он утверждает себя, как чистокровного пролетария. Если вы ему скажете, что он не пролетарий, — он, сукин сын, обидится. Как же

так: и выкрашен с ног до головы кармином, и в глазах нечто этакое энтузиазное, и словарь у меня самый современный, а вы не признаете!.. Я жаловаться буду, я управу найду! За что боролись?.. Мещанство — изумительный случай не только оборонительной, но и наступательной мимикрии. Опубликованную вами хартию прав пролетариата мещанин немедленно полностью отнес к себе, вырвав из нее те параграфы, в которых есть неприятные слова об обязанностях. И он требует немедленного осуществления этих прав. Обиженная обывательщина прет на вас, как грязь из керченской сопки.

— Не запугаете, — ответил Кудрин, — заставим грязь влезть обратно.

— Как? - спросил Половцев с нескрываемой иронией.

— Вот! — Кудрин опустил вниз руку с сжатым кулаком.

Половцев протяжно засвистел:

— Фьююю!.. Отжило век и не годится. Так можно было давить генералов, а мещанство между пальцами вылезет. Оно не физический враг.

— Может быть, вы нашли спосоо борьбы? — уже враждебно спросил Кудрин.

— Где нам, обломкам капитализма, чай пить, — с горечью ответил Половцев. — Но одно, пожалуй, скажу. Мещанина нужно грохать по лбу переворотом в культуре. Ему, сукиному сыну, нужно показать такую новую, совершенную культуру, созданную революцией, чтобы он ослеп от ее света и понял свою пошлость и ничтожество. Почувствовал бы себя не властелином вселенной, а первобытной обезьяной, существом низшей породы. А что сделано в этой области?. Что?.. Возьмем любую отрасль культуры.. ну, хоть бы литературу. Что изменилось в ней наряду с коренным изменением социальных отношений, с полным переворотом, совершенным в Октябре? Да ничего!.. Переменились названия героя, и остались те же схемы. Место добродетельного городского занял добродетельный милиционер. Место министра, отдающего силы на благо веры, царя и отечества, — добродетельный ответственный работник, жертвующий собой для блага пролетариата. От замены однихкукол другими ничто не меняется. И не так создается новое искусство класса-победителя. Сколько ни выворачивай перчатку, она остается перчаткой.

— Что же вы рекомендуете?

— Я? — ответил Половцев. — Я не учитель жизни и не политик, как вы правильно заметили. Но если вы не обратите максимум внимания на фронт культуры, если вы не вытряхнете из древнего Адама всю дрянь, которой он был набит в течение веков, не вдохнете ему в душу новый огонь исканий и дерзаний, — придет время, когда вас может задушить плесень. Нужно создавать совершенно новую интеллигенцию, плоть от плоти самого здорового, что у вас есть. — рабочего класса. Нужно не считать интеллигенцию чудищем облым, а приучить народ уважать ее.

— Открыли Америку, — сказал Кудрин, — Мы не ставим себе эту задачу, но нужны десятилетия...

— Не спорю... Но пусть на это дело будет брошена вся интеллектуальная верхушка партии, ее лучшие люди.

А то у меня создалось впечатление, что, когда человек оказался негоден на работе в промышленности, в сельском хозяйстве, в армии и его некуда девать, его сплавляют за неспособностью на культурный фронт. И он сидит сам по уши в болоте и других тянет. Почему делом культуры может руководить полуграмотный человек? Возьмите наш клуб. Через него проходят пять тысяч человек, в основном молодняк, будущие ваши кадры, которые должны сменить нас, капиталистических подонков. А наш завклубом бумажки грамотной составить не может, а когда выступает с трибуны — слушать невозможно эту галиматью. В клубе грязно, зимой холодище, летом мухи и пыль, Неуютно, казенно, заплевано. В этом есть недопустимое презрение к той самой массе, для роста которой и создан клуб. Не мудрено, что наиболее развитых рабочих в клубе днем с огнем не найдешь потому, что они его переросли. Менее развитые направляются в пивнуху — там теплее и веселее. А клуб заполняет ухарская шпана, будущие и настоящие хулиганы, И торжествует мещанин, ибо танцульки в «два прихлопа — три притопа» убеждают его в том, что торжествует его «культура», процветающая под аккомпанемент балалаек... Нет, дорогой шеф! До победы далеко. Нужен Октябрь. культуры... Вот!

Половцев замолчал. Молчал и Кудрин. Наконец технический директор спросил:

— Что ж молчите? Презираете?

Кудрин наклонился с койки.

— Нет! Я слушал! Внимательно!... В той профессорской абракадабре, которой вы разразились, возникла дельная мысль об Октябре культуры. Но ведь мысль эта не ваша, а Ленина. Мы ее знаем. Но заимствовать мысли у Ленина — это уже достижение для интеллигента вашей формации.

— Покорнейше вас благодарим, ваше превосходительство, — полуиронически-полугрустно сказал Половцев.

— А вы не относитесь с небрежением, — ответил Кудрин, — хорошая мысль хороша, когда ее подает голос даже с другого берега.

— Спокойной ночи! — сердито буркнул технический директор.

Поезд несся сквозь березовые перелески, оставляя на ветках рваную вуаль дыма, уплывающую в древнее и грустное русское небо.

Утром на вокзале Кудрин расстался с Половцевым, условясь о встрече на заседании в половине шестого. Он испытал чувство, похожее на облегчение, когда фетровая шляпа профессора исчезла в толпе, вытекшей из вокзала на площадь.

Последние разговоры с техническим директором оставили в голове Кудрина неприятный, мутный осадок. Самое неприятное было то, что мысли Половцева начинали_как-то неожиданно и нежелательно совпадать с мыслями самого Кудрина. Это особенно выявилось в этом ночном разговоре в вагоне. Кудрин сознавал, что оловцев не без основания высказывает опасения за новую культуру советского общества. Утверждение Половцева, что на культурный фронт посылаются люди, обнаружившие непригодность к работе в других областях, было злым, но не лишенным правды. А рост мещанских_настроений, расцвет обывательщины, вызванный новой экономической политикой, внушал опасения. И, казалось, надо было прислушаться к стихотворному предупреждению Маяковского, как бы коммунизм не был побит канарейками.

Вспоминая упреки Половцева по поводу работы клуба, Кудрин не мог не признать, что профессор прав. Клуб был непривлекателен, запущен, неуютен, от него несло убожеством и казенщиной. Что нужно было решительно взяться за полную реорганизацию дела. Но за более срочными и государственно необходимыми делами до клуба руки не доходили, а кроме того, неоткуда было взять качественные кадры работников. В городе было несколько образцовых домов культуры и клубов, работа в которых велась живо, с выдумкой и огоньком, но этого было мало для двухмиллионного города. А в малых клубах властвовала рутина, скука и уныние.

«Вот вернусь в Ленинград, вырву время и разворошу это воронье гнездо», — подумал Кудрин, выходя из трамва на площади Свердлова. Ему нужно было еще зайти в Наркомфин, выяснить некоторые дополнительные сведения по смете. Это могло занять полчаса времени, а с полудня и до половины шестого он был совершенно свободен. Знакомых и друзей в Москве было много, но ехать к ним в рабочие часы не хотелось. Мелькнула мысль побывать в Третьяковской галерее, но Кудрин вспомнил, что по понедельникам галерея не работает.

Тогда он решил после Наркомфина поехать на Воробьевы горы и пообедать на поплавке у Нескучного.

В Наркомфине он быстро закончил дело. Разговаривая с товарищем, у которого проходила смета треста, Кудрин с удовлетворением отметил, что он с Половцевым правильно предусмотрели те пункты, по которым можно было ожидать веских и решительных возражений. Он объяснил товарищу свою позицию в этих вопросах, и тот одобрил соображения Кудрина, признал их правильными и обещал поддержку.

Выйдя в коридор, Кудрин направился к лестнице. Навстречу ему подымался человек в широком пальто из пушистого серого драпа. Кудрин бросил беглый взгляд на пальто, отметив хороший покррой, но на обладателя пальто не взглянул и пошел дальше. Но вдруг на плечо ему легла чья-то рука. Он поднял голову и увидел белозубую радостную улыбку на знакомом лице.

— Федор! .. Феденька! — вскрикнул человек в сером пальто. — Сан, чи не сон? Тебя бачу, чи ни?

Человек в сером пальто оказался старым приятелем, начальником политотдела дивизии, где Кудрин был комиссаром. С окончанием гражданской войны они разошлись и потеряли друг друга из виду.

— Оце добре, — сказал приятель, — як кажуть: на вовка и ягня бижить. Я учора приихав, та мозгую, як бы тебе разшукати, а вин ось сам. А у меня до тебе писулька е!

— Откуда? — полюбопытствовал Кудрин, сжимая руку приятеля.

— Из Парижа... От гарнесенькой дивчины!

Кровь хлынула в щеки Кудрину, и он растерянно посмотрел на приятеля. В памяти всплыла большеротая ласковая девушка, поджидающая его на бульваре, вертя в пальцах маленький букетик фиалок.

— Из Парижа? — спросил он осекшимся голосом.— Каким образом?

— Эге!.. Бачь, як спалахнувся... А я ж, хлопче, зараз из Парижа... Працюю в торгпредстве... Ну и приихав в отпуск дихнуть ридным воздухом... Европейский для :-мене неподобен... Ну и привез тобі писульку.

— Но где и как ты мог ее встретить? — перебил Кудрин.

Приятель гулко захохотал и ткнул Кудрина в бок:

— Попался, карась? Значить, дивчина була-таки? .. о тильки, друже, писулька не от дивчины... Дуже жаль, але... Кудрин вспыхнул:

— Что ж ты дурака валяешь? От кого письмо?

— Что, разочаровался? — сказал приятель, переходя с украинского на русский. — Ну, не унывай. Видишь, мы устраивали наш павильон на выставке, а в соседнем павильоне работали французы. А расписывал. павильон такой старичок с бородкой, мсье... — Он назвал фамилию учителя Кудрина. — Вот однажды этот старикан зашел посмотреть наш павильон. Мы его поводили всюду, разговорились. Среди разговора он вдруг и сприси меня, не знаю ли я такого русского большевика по имени Теодор Кудринь. А когда узнал, что мы вместе воевали, просил твой адрес. Я, на беду, понятия не имею. Он очень огорчился, но дня через два занес письмо и просил, когда поеду домой, чтобы обязательно разыскал тебя отдал.

— Письмо с тобой? — взволнованно спросил Кудрин.

— Сейчас погляжу. Вчера портфель разбирал, не помню: не то положил назад, не то на столе оставил.

Он открыл портфель, долго рылся в бумагах и наконец вытащил синий, узкий, хрустящий конверт.

— Во!.. Твое счастье, хлопче!

Кудрин почти вырвал у него из рук конверт, Ему захотелось скорее уйти и остаться одному. Он сказал приятелю:

— Спасибо! Ты надолго приехал?

— Недели на две.

— Если будешь в Питере — загляни! Трест «Стеклофарфор». Пока прощай, спешу.

— Чого ж це ты так гонишь?.. Писулька же не от дивчины, — снова захохотал приятель, прощаясь.

Кудрин выскочил на улицу, поймал первое попавшееся такси и приказал везти себя к Нескучному саду положил обратно в карман.

«Нет, прочту в саду, где-нибудь в укромном уголку, в тишине», — подумалось ему.

Шофер остановил машину у входа в сад.

— Подождать? — спросил он.

— Нет, я пробуду долго, — ответил Кудрин, расплатился и пошел по аллее.

В саду было тепло и душно от преющей прошлогодней листвы. Пахло клейким ароматом молодой майской зелени, обрызганной солнечным светом. Кудрин свернул на боковую дорожку. По земле дрожа скакали солнечные зайчики, и обочиной хлопотливо бежала серенькая птаха, кося на Кудрина забиячливый глазок, Он дошел до укрытой в кустарнике скамьи, снял с головы кепи, сел и вскрыл конверт, чувствуя, как сердце забилося учащенными толчками.

Мелкий изящный почерк сразу напомнил ему мэтра, щеголеватого, изящного старика.

«Дорогой Теодор, — писал мэтр, — я так случайно и счастливо- нашел вашего друга, что это показалось мне чудом. Мне очень хочется вновь встретиться с вами, хотя бы письменно пока. Ваш друг рассказал мне, что после отъезда из Парижа вы, вместе с ним, делали гражданскую войну у себя дома. Это великолепно. Я не понимаю, что такое коммунизм, я законсервированный буржуа, но я чувствую лучшие симпатии к вашей стране уже потому, что она первая прикончила гнусное человекоубийство во славу Пуанкаре-Война и его шайки. Сколько погибло прекрасных надежд и прекрасных сердец. Вы помните, без сомнения, ваших коллег по студии Адриена Море, Жака Прево, Роллана де Пуатье. Все они так много обещали нашему искусству, и все сложили головы на фронте. Какие утраты! И для чего?»

Как художник я при всей моей буржуазной природе всегда был свободомыслящим. О вашей стране я мало знаю. Только слухи!, Мне кажется, что вы натворили много крайностей, но я не настолько политик, чтобы в этом разбираться, и вы извините мне мою неосведомленность. Во всяком случае, войны окончены, и вы живете мирной жизнью и снова творите. Я уверен, что ваша кисть может принести славу вашему молодому искусству. Не примите за лесть, но ведь я всегда считал вой выше всего сброда, который в Париже портит полотна мазней. Как ваши успехи? Может быть, вы найдете минуту

написать мне о них? Я думаю, ваши товарищи революционеры радуются полотнам, на которых вы запечатлеваете преобразование вашей нации. Позвольте мне крепко обнять вас и примите лучшие и сердечные пожелания.

Ваш стареющий учитель».

Держа письмо в пальцах, Кудрин задумался.

Значит, мэтр думает, что он вернулся к живописи, и не подозревает, что его ученик не брался за уголь и кисти в течение десяти лет. Чувство, похожее на тоску, овладело Кудриным. Он встал и поспешно спустился вниз к реке. На террасе поплавка он нашел столик у края. В нагретом струящемся воздухе жемчужно мерцала река, сворачивая плавной лукой к Новодевичьему монастырю. Деревья на противоположном берегу казались игрушечными. Кудрин с аппетитом пообедал и выпил бутылку сотерна. В приподнятом настроении он вернулся в город. Проходя по Петровке, он увидел в окне Пассажа заграничный джемпер яркой расцветки. Он решил сделать подарок Елене.

«Сама же она никогда не догадается купить и будет ходить в своей арестантской прозодежде».

Сделав покупку, приобретя в книжном магазине на Кузнецком еще несколько новинок, он поехал на заседание. Заседание уже началось, и Кудрин осторожно пробрался к стулу, который занял для него раньше приехавший Половцев.

Вопрос о смете треста стоял в повестке четвертым, и пришлось прождать около полутора часов. Прикрываясь портфелем, Половцев шепотом рассказывал Кудрину московские новости и анекдоты, но Кудрин слушал рассеянно. Обсуждение сметы прошло без всяких осложнений. Урезали еще несколько второстепенных пунктов, остальная часть прошла как по маслу, при энергичной поддержке представителя Наркомфина. После принятия резолюции Кудрин и Половцев покинули зал заседаний.

— Повезло, — сказал с облегчением Половцев, — знать бы, так и приезжать не стоило. Попусту таскались.

— Ну, нет, — отозвался Кудрин, — я встретил нужного человека, как нельзя кстати.

— А что такое?

— Так... личное дело.

Половцев посмотрел на часы на трамвайном столбе.

— Двадцать пять восьмого. До поезда четыре часа. Вы куда?

— Никуда, — ответил Кудрин, — у меня все дела кончены.

— Тогда не хотите ли совершить прыжок в бездны литературы? Сегодня в Политехническом музее доклад поэта Тита Шкурина.

— Наверное, скука? — вяло сказал Кудрин.

— Наоборот... Ручаюсь за веселье. А потом — ведь все равно. Сидеть где-нибудь в кафе или слоняться по улицам еще скучнее. Идем!

— Ну, пусть так, — согласился Кудрин.

У входа в Политехнический музей стояла толпа молодежи, сквозь которую Половцев и Кудрин с трудом пробились в здание. Оставив Кудрина в вестибюле, Половцев на несколько минут исчез в каморке администратора и вышел оттуда с видом победителя.

— Везде надо иметь лазейки, дорогой шеф. Все билеты распроданы за неделю, а для нас с вами нашлись.

Они сдали пальто в гардероб и вместе с шумной, оживленной молодежью поднялись в фойе. Огромные красные буквы афиши оповещали, что член ассоциации Левого фланга искусств, поэт Тит Шкурин прочтет доклад на тему: «Искусство конкретного факта».

Прочтя афишу, Кудрин спросил у Половцева:

— Что такое искусство конкретного факта?

— Не торопитесь! Сейчас выслушаем очередное откровение и все поймем.

Они взяли программу с тезисами доклада, с трудом протискались в зал, у проходов в который контролеры изнемогали в неравной борьбе с зайцами. В зале разыскали свои места в третьем ряду, согнав с них каких-то сконфуженных девчурок.

Раздался звонок, и на кафедре появился докладчик. Очень длинный и тощий, с удлинённой головой, похожей на дыню, и такой же голый, как дыня, Тит Шкурин разложил на кафедре листки конспекта, надел необыкновенной формы шестигранные очки, прокашлялся и заунывным голосом начетчика стал излагать теорию искусства конкретного факта. Эта теория сводилась к отрицанию всей литературы, которая существовала в мире до явления народам Тита Шкурина и его единомышленников. Все жанры художественной литературы объявлялись контрреволюционными и вредными для революции. Классическая литература была хитро задуманной акцией буржуазии, направленной на затемнение сознания трудящихся лживыми и усыпляющими вымыслами. Она была таким же опиумом для народа, как и религия. Она обманывала трудящихся, подсовывая вместо конкретного факта выдумку, отравляющую подслащенной фальшью трезвое сознание пролетариата. Всем писателям прошлого, агентам буржуазии, ее наемным пропагандистам Тит Шкурин противопоставлял себя и свою ассоциацию Левого фланга искусств, которая издавала самый крайний журнал. В этом журнале ассоциация проводила мысль, что лучшими образцами новой литературы социализма являются только очерки, описывающие конкретную действительность и конкретных людей. Право на художественный вымысел в литературе объявлялось «проклятым наследием капитализма».

Зал слушал с настороженным вниманием, и в тишине равномерно скрипел нудный голос докладчика. Кудрин нагнулся к Половцеву и с недоумением тихо спросил:

— Что это за сволочь?

Половцев фыркнул так, что на него оглянулись.

— Что вы? Что вы?.. Вы просто реакционер в литературе, — сказал он сквозь смех. — Ведь этот субъект сейчас одна из самых модных фигур. Он делает погоду.

Кудрин нахмурился и промолчал.

Безостановочно, лишь изредка вытирая платком пот с лысины, Шкурин в течение часа громил мировую литературу от Гомера до Горького. Он призывал молодежь выйти на улицы и требовать от правительства уничтожения библиотек и закрытия всех журналов, кроме журнала ассоциации Левого фланга искусств. Кроме того, он снисходительно допускал существование газет, поскольку их материал держался на конкретных фактах.

Наконец он сложил свои листки и объявил десятиминутный перерыв перед прениями. Зал проводил его бурей аплодисментов, и публика, топоча, ринулась в фойе перекурить.

Кудрин резко встал.

— Я уйду, Александр Александрович, а вы, как угодно... Я люблю рыжих в цирке, а не в аудитории. И потом этот рыжий что-то странен.

Половцев тоже поднялся с ядовитой улыбкой:

— Иу, что же!.. Я с вами. Хотя и хватило бы времени послушать прения, но нечего делать.

Они вышли из музея и пошли к Лубянской площади. На углу Мясницкой у старинной церквушки, назначенной к сносу, в подслеповатом старинном оконце из шестигранных глазков, зажатых в свинцовую оправу, красной капелькой мигала лампадка. С площади подходил четвертый номер трамвая. Холодно, как сабли, блестели рельсы.

— Садимся? — спросил Половцев.

— Нет! В вагоне душно... и вообще душно,— с яростью ответил Кудрин. — Пройдемся пешком.

Пробиваясь через встречные человеческие потоки по узкому тротуару, они молча дошли до Мясницких ворот. И Кудрин свернул направо, на Чистые пруды. Половцев догнал его и в мимолетном отблеске фар пролетевшего автомобиля увидел на лице Кудрина напряженно-злое выражение. Войдя в ограду бульвара, Кудрин пошел медленнее.

— Посидим, — глухо сказал он, — я что-то устал.

Они нашли свободную скамью. После долгого молчания Половцев осторожно спросил:

— Мне кажется, вы сердитесь на меня, Федор Артемьевич, что я потащил вас на доклад.

— Почему вы думаете? — усмехнулся Кудрин.— Точно я маленький, чтобы меня можно было куда-нибудь потащить. Дело не в этом. Я испытал невероятное отвращение... до физической тошноты... Послушайте, кто этот развязный кривляка, этот субъект без роду и племени? Что это — тупица или открыто издевающийся враг? Весь смысл нашей литературной политики, вся наша надежда в том, что мы сможем вырастить своего Пушкина,

своего Толстого, своего Гоголя... А что предлагает эта каналья?.. Успокоиться на дневнике происшествий, на хронике, на ползании по фактикам, без осмысления, без обобщения, без художественного претворения... Это же открытая атака врага!

Половцев ответил не сразу.

— Прежде всего, я попрошу у вас извинения, Федор Артемьевич... Но я не подумал, что вы будете так остро реагировать... А затянул я вас на этот фарс нарочно, сознательно. И вот этого вопроса: «дурак или враг?» — я ждал.

— Ждали?

— Да!.. Я был уверен, что вы его зададите. Дурак или враг? Но прежде чем ответить на этот вопрос, я позволю сказать два слова. С вами работают две группы беспартийной интеллигенции. Первая, очень существенно: расходясь с вами в понимании и оценке событий, может быть многого не осознавая во всей полноте, а может быть, и по некоторой косности мышления, все же пошла работать с вами, сознав, что в потоке эпохи вы, и только вы оказались властью, достойной этого названия, проявившей и государственную зрелость, и достоинство подлинной власти, единственно могущей вывести страну на путь широкого и коренного обновления и оздоровления. Эта группа много пережила, испытала немало обид, не всегда заслуженных, и, придя к вам, подав вам руку, она сохранила за собой право иметь самостоятельные взгляды на некоторые явления, не забегать вперед с лакейскими поклонами, не прислуживаться через край и критически относиться к тем или иным мероприятиям, разделяя тем не менее с вами и судьбу и ответственность до конца. Для этой группы существует священное понятие родины. Можете называть ее как угодно: СССР, Мировая Коммуна, Соединенные штаты пролетариата и еще как вздумается, но для нас это — Россия. Я говорю для нас потому, что причисляю себя к этой группе. И мы работаем рядом с вами честно для России сегодняшней и будущей, ибо увидели, что вы ведете ее к лучшему будущему. Когда вы, с нашей точки зрения, порете чушь, мы имеем мужество открыто говорить вам это, но никогда не пойдем ни на какую политическую авантюру или предательство.

— Спасибо за откровенность, — иронически обронил Кудрин.

— Не шутите!.. Но есть и другая группа. Она ничему не научилась. Она ничего не вынесла из событий, кроме злобной обиды за крушение своего житейского благополучия, своих гладеньких и чистеньких карьер. И она примкнула к вам, только поняв, что нужно выбирать между бытием и небытием, а небытие вещь неприятная. Эта группа работает, стиснув зубы, из-под палки, а так как она, в силу врожденного карьеризма и беспринципности, не желает занимать второстепенные места, она из кожи вон лезет в угодничестве, подхалимстве и поддакивании вам даже в ошибках. Ваши ошибки радуют их и пробуждают в них надежды.

Ведь каждая ошибка ослабляет вас и усиливает их. И они изобретают все эти якобы ультралевые теории в области искусства, литературы, науки, пользуясь тем, что вы, во-первых, еще плохо в этих материях разбираетесь, а во-вторых, потому, что вам еще некогда вплотную заняться этими проблемами... Вот эти две группы интеллигенции презирают одна другую и имеют на это основания.

Кудрин повернулся к Половцеву:

— Ну и какие же выводы из того, что вы мне сообщили?

Половцев вскинулся.

— Да что ж вы, сами не видите? В жизни все и вся можно использовать правильно. Сегодняшнего докладчика можно с успехом послать обрабатывать коммунальные огороды, — небось видели, какие у него плечи. Но позволять ему обрабатывать головы молодежи — преступное попустительство. Поэтому я был удовлетворен вашим вопросом: «тупица или враг». Враг! Ибо это теория врага, нигилячество взбесившегося мещанина, оплевание всего, что сделало человечество на этой планете в пути своего развития. Это натиск мещанина, о котором я говорил вам в вагоне.

Кудрин встал:

— В ваших словах, Александр Александрович, есть доля истины, но зачем же впадать в паническую истерику. Подрастут наши кадры, и мы турнем Шкуриных в три шеи.

Половцев огрызнулся фальцетом:

— В чем дело, наконец? Откуда у вас эта казенная самоуспокоенность? В годы гражданской войны вы не страдали оптимистическим раздутием селезенки, и это принесло вам победу... Подрастут кадры?... А что, если кадры успеют заболеть прежде, чем подрастут? Тогда что? А симптомы есть... Впрочем... — Половцев оборвал речь и взглянул на часы: — Пора на вокзала

В вагоне Половцев не проронил больше ни слова и после отхода поезда быстро разделся и повернулся лицом к стене, подчеркивая нежелание продолжать разговор.

Кудрин был рад этому и, как только Половцев улегся, погасил свет.

7

Не заезжая домой, Кудрин с вокзала приехал в управление треста и сразу, как пловец с вышки в воду, погрузился в привычные будничные дела. Как всегда, в кабинет входили один за другим с бумагами и докладами начальники отделов, заместители, портфели раскрывали свои кожаные пасти, выворачивая содержимое, и, шелестя листами, в обычном ритме текла повседневная работа.

Уловив правильность этого ритма, бесперебойное его движение, Кудрин включился полностью в него и позабыл о растрavляющих разговорах с Половцевым. Работа, как всегда, увлекала его целиком, Ему нравилось сознавать, как в большом и сложном организме треста все прочно связано и скреплено, винтик к винтику, колесико к колесу. Все должно было действовать и действовало непрерывно, точно, бесшумно, без скрипа и задержек, и вся эта налаженная система являла собой то доверенное Кудрину большое и нужное промышленное целое, которое носило название треста «Стеклофарфор».

В размеренный ход этой работы нежданно ворвался резкий звонок одного из трех телефонов на столе Кудрина. Это был телефон прямой связи со Смольным.

Подняв руку, Кудрин остановил на полуслове докладывающего сотрудника и приложил трубку к уху.

— «Стеклофарфор». Кудрин слушает.

Приглушенный и несколько искаженный голос застучал ему в ухо:

— Федор!.. Вот здорово!.. А я думал, ты еще не вернулся... Что? Нынче утром? Все в порядке?.. Ну-ну!.. Как живешь? Я? Тоже помаленьку... Послушай-ка, ты не заедешь часам к трем ко мне? Ну, минут на десять. Есть разговор... Да нет, по личному. Приедешь — узнаешь... Когда хочешь, только не позднее половины четвертого... Будь здоров! Жду!

- Кудрин положил трубку и уже рассеянно дослушал доклад.

Звонил председатель губернской контрольной комиссии Манухин. Звонок неприятно встревожил Кудрина. Кудрин не мог понять, какое личное дело могло быть к нему у Манухина, о котором нельзя было сказать по телефону.

И то, что звонил сам Манухин, и что в тоне его разговора было что-то недосказанное и уклончивое, не понравилось Кудрину. Тем более это было неприятно, что Манухин, старый и близкий товарищ, говоря с Кудриным, старался придерживаться обычного для него шуточного тона, но в шутовстве на этот раз чувствовалась заметная принужденность, желание прикрыть шуткой что-то, что было не похоже на шутку.

Кудрин недоумевал. Он не мог объяснить себе замеченную перемену в обращении с ним Манухина, не припоминал за собой ничего такого, что могло объяснить эту перемену. Наскоро и уже без увлечения закончив очередные дела, он вызвал машину и поехал в Смольный.

— В чем дело? — спросил он, входя в манухинский кабинет, еще с порога.

Манухин поднял стриженную ежиком светловолосую голову от синей папки, в которой копался, и под коротко остриженными рыжеватыми усами его тонкие губы сложились в насмешливую улыбку. Он почувствовал волнение Кудрина и несколько секунд смотрел на него, прищурился и покачивая головой, и только после вторичного вопроса, протянув

руку, сказал:

— Здравствуй и садись!.. Да ты что ерзаешь?.. Первый раз в контрольную потянули. Ничего, братец, привыкай да не штрафись.

Кудрин с размаху сел в кресло и рассеянно пожал руку Манухина.

— Ну тебя к чертям!.. Не изображай великого инквизитора! — раздраженно заговорил он. — Что стряслось? Какая-нибудь склока?

Манухин, продолжая щурить глаза, строго-испытующе смотрел в глаза Кудрину и вдруг, ударив ладошкой по столу, раскатился добрым, звенящим смешком, Сквозь смех он пробормотал:

— Эх ты, дурень!..Чует кошка... А вот погоди, мы тебя из партии железной метлой. Не шали, не пакости, не обрастай, не впадай в буржуазные заблуждения,

— Что такое? — вскочил Кудрин, потрясенный внезапной догадкой, — Брось паясничать, говори серьезно.

Манухин вытер платком влажные от смеха губы и сразу стал другим, простым, дружелюбным, с ласковой искоркой в светлых глазах.

— Да ты сиди, Федор!.. Сейчас все по порядку. Видишь ли, вчера заявила ко мне твоя Елена. «Хочу, говорит, с тобой, товарищ Манухин, держать совет насчет Федора». — «Валяй, говорю, товарищ Елена». Тут она мне и начни выкладывать, что ее очень беспокоит твое поведение, а поскольку ты ей муж, то она должна сказать, что наблюдает последнее время нечто беспокойное в смысле партийных уклонов, как-то: желание жирно жить, застой, утрата пролетарской сущности, накопительские тенденции, обрастание буржуазными безделушками, а кроме того, очевидное намерение отбить у своего технического директора его даму коварной артистической внешности.

Манухин говорил - полушутя-полусерьезно, в глазах у него бегали лукавые вспышки, и нельзя было понять, чему он верит, чему не верит.

Кудрин нервно стиснул в пальцах карандаш, взятый со стола, и сломал его пополам. Осколок карандаша ударил Манухина в лоб, и тот потер ушибленное место.

— Ты, браток, спокойней. Свой лоб прошибай, а я всетаки должностное лицо и неприкосновенен.

— Послушай, Андрей, — спросил Кудрин, — ты не привираешь малость?

Манухин снова вскинул взгляд па Кудрина и как-то задумчиво-серьезно ответил:

— Нет! Даю слово, что разговор был именно в этом смысле.

Кудрин помолчал.

— Какая гадость! — наконец выжал он, — Ведь ничего похожего на правду. Не пойму — идиотизм или паскудная бабья сплетня.

Манухин положил ладонь на руку Кудрина.

— Погоди! Я думаю, ни то, ни другое, — мягко, как бы стараясь оправдать поступок Елены, сказал он. — Просто она, как близкий человек, разволновалась... может быть, даже без основательных поводов, и пришла ко мне поделиться своими заботами. Из хороших побуждений.

— С дурацким и лживым доносом? Благодарю за такие хорошие побуждения. Сегодня она выложила «заботы» тебе, завтра пойдет к Петрову, послезавтра к Иванову, и пошла гулять клевета. В чем именно она меня обвиняла? Факты?

Манухин слегка похлопал по руке Кудрина.

— Сдержи нервы! Ни в чем конкретно она тебя не обвиняла. Да и вообще не обвиняла, а беспокоилась, что ты, на ее взгляд, очень переменялся за последнее время, размяк, возишься с разными хлюпиками, оторвался от масс... Видно, ее это волнует. Не дерево же — жена!

Кудрин встал и сухо сказал:

— Боюсь, что дерева больше, чем жены... Во всяком случае, спасибо за предупреждение. Но я взрослый, мой партийный стаж побольше; чем у моей жены, и не ей меня учить. Ты меня знаешь. Я не делал и не делаю ничего, что могло бы меня скомпрометировать как члена партии. Няnek мне не надо, Если в твое распоряжение поступят действительно порочащие меня данные, дай им должное направление, а отрывать меня от дела ради чепухи непростительно... Если мы будем подозревать друг друга по бабьему трепу, нам на дело времени не останется. Прости и до свиданья.

Он пожал руку Манухину. Тот улыбнулся:

— Чего же ты так нервничаешь, Федя? Раз прав, значит — прав. А кто прав, тот спокоен.

Кудрин твердо встретил испытующий взгляд Манухина.

— Я спокоен,— ответил он,— но меня сейчас занимают некоторые весьма решающие для меня вопросы.

Я над ними много и напряженно думаю, чтоб найти правильное решение. А для этого нужно внутреннее равновесие. И досадно, когда не умеющая думать и ничего не понимающая женщина срывает это равновесие. И из друга — становится врагом. Будь здоров, Андрей!

Он решительно вышел из кабинета. В нем закипало неудержимое раздражение против Елены... Глупая, оскорбительная выходка, Объявление войны без резонного повода.

То, что Манухин пытался оправдать ее приход в контрольную комиссию беспокойством о Кудрине, было неубедительно для Кудрина; тем более что оснований для беспокойства не было. Неужели она не могла просто, потоварищески, спокойно, даже после нелепой вспышки перед отъездом в Москву, поговорить с ним, высказать свои сомнения и тревоги? Неужели он

отказался бы так уже дружески объяснить ей все, что занимало его последнее время. Если бы даже его объяснения не рассеяли ее сомнений, она могла же поговорить с тем же Манухиным, который не раз бывал у Кудрина, в домашней обстановке, не придавая разговору официального характера. Но появление в контрольной комиссии совершенно меняло положение. Кудрин прекрасно понимал, что, приди не Елена, а любая другая женщина с такими обвинениями против него, могло бы возникнуть уже формальное дело, которое, конечно, кончилось бы ничем, но, во всяком случае, сулило бы много неприятных минут.

Выйдя из Смольного, Кудрин сумрачно стоял у машины, думая, ехать или не ехать сейчас домой? Он боялся встретиться сейчас с Еленой, чтобы в озлоблении не наговорить ей лишнего, оскорбительного. И он придумывал, как бы оттянуть возвращение в дом.

И совершенно нежданно он вспомнил записанный у кассирши на выставке адрес Шамурина. Если поехать сейчас к художнику, то мирный разговор о творчестве, о работах этого интересного и неведомого мастера, знакомство с его трудом может сыграть роль, громоотвода, поможет успокоиться и погасит негодование. И, решив ехать, он сказал водителю адрес.

Машина промчалась по Невскому, свернула на улицу Герцена, миновала сквер у Исаакиевского собора. Там на свежепосыпанных песком дорожках копошились ребяташи, Кудрин посмотрел на их веселую воробьиную возню, и у него болезненно сжалось сердце. Он подумал, что, возможно, все тревоги, вся неудовлетворенность последних лет и ощущение холодной пустоты в доме происходят оттого, что по комнатам не бегают вот такой неуклюжий шарик, которому можно было отдать неизрасходованный запас мужской отцовской не юности и тепла, который был не нужен в работе и который не ценила Елена. Кудрин вспомнил, что ему уже сорок два года и жизнь идет под уклон. Он мотнул головой и сказал сам себе:

— Так-то, Федя!.. Так-то! Идешь к концу, а сменой не обзавелся. Плохо без смены. И не закончил мысли, с горечью подумав, что, пожалуй, смены уже и не будет и поздно об этом сожалеть.

Водитель, замедлив ход машины, переспросил:

— Какой переулок-то, Федор Артемьич? Я что-то такого не помню,

Кудрин назвал переулок, водитель свернул налево, и машина запрыгала по выбоинам торцов, разбрызгивая покрывками мутные лужи. Кудрин рассеянно откинулся на спинку сиденья, взглянул па канал и замер, ошеломленный.

Перед ним, за простым и страшным, как узор гробового рюша, контуром решетки канала, медленно текла масляная, синевато-радужная вода с тяжелым запахом гнили. По ней бежали смертные лиловые тени. На противоположной стороне вставала громада брандмауэра, и по

ней трупными пятнами проступала отсырелая штукатурка печных труб,

Не было сомнения, — перед ним был тот же пейзаж, что на гравюре Шамурина, только менее мрачный и безнадежный, смягченный блеском весеннего дня. Не было только девушки у решетки, но, казалось, она сейчас обязательно должна встать на свое место в этом прозрачном мире. Кудрин сидел молча, не отрывая глаз от этой картины, повторяющей гравюру Шамурина. Он даже не заметил, что машина уже остановилась у приземистых ворот. Только когда водитель вторично окликнул его, он с трудом очнулся.

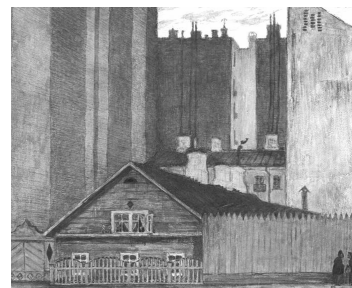


— Приехали, Федор Артемьича Этот самый! Номер четырнадцать!

Внезапно и странно отяжелев, Кудрин медленно вылез из машины и, обходя лужи, двинулся во двор. Женщина с изможденным, серым лицом переходила двор с корзиной мокрого белья на плече.

— Шамурин? — переспросила она. — Это который художник?.. Так вы, товарищ, прошли уже. Вернитесь под ворота, вон там налево парадная, подымитесь на четвертый этаж. Там, где на дверях карточка портнихи Воронковой, там он и живет, — словоохотливо, видимо радуясь появлению нового лица, объяснила женщина.

Кудрин вернулся и поднялся по залитой и затоптанной грязной лестнице, на которой стоял густой запах прокисших огурцов и кошачьих отходов. На двери, с которой висели лоскуты клеенки, белела маленькая карточка: «Портниха Воронкова. Шитье по парижским моделям».



Кудрин усмехнулся. Не обнаружив электрического звонка, он дернул за старинную ручку, пропущенную сквозь медистые кольца. Внутри просыпался дребезжащий звон, зашаркали мягкие шажки, звякнула цепочка, дверь открылась, и Кудрин оказался лицом к лицу с малорослой, согбенной старушонкой. Она, не мигая, смотрела на него подслеповатыми глазками в красных слезящихся веках.

— Вы к Лизавете Семеновне? А их дома нет... Понесли заказ... Может, подождете? — прошипела она беззубым ртом.

— Я не к ней... Мне нужен художник Шамурин,— сказал Кудрин.

При этом старуха быстро оглянулась назад, в темень коридора, и Кудрину показалось, что в ее глазках пробежала тень испуга.

— К Шамурину?.. Простите старую грешницу, мне ваше обличье сперва будто знакомое показалось. Думала, к нам... А к Шамурину прямо по коридору и дверь налево.

Она отстранилась, пропуская Кудрина. Больно ударясь коленом о какой-то острый угол, он

добрел до двери.

— Во... во! Она самая! — придушенным шепотом сказала старушка.

Кудрин негромко постучал и сейчас же услышал за дверью быстрые и легкие, совсем не старческие шаги. Невидимая рука отодвинула засов. Дверь распахнулась, облив стену коридора холодным серым светом. На пороге стоял небольшого роста, высохший человек с острой седой бородкой и блестящими из-под кустистых бровей тревожными глазами. Глаза эти сразу запомнились Кудрину.

Серо-синие, пристальные, они таили в себе спрятанную сумасшедшинку и глубокую боль.

— Что вам угодно? — спросил хозяин.

Кудрин на мгновение растерялся от его неподвижного и подозрительного взгляда.

— Вы Шамурин? — тихо спросил он. — Простите, но я просил бы уделить мне несколько минут.

— Входите! — ответил Шамурин и пропустил Кудрина в комнату, захлопнув дверь перед носом крайне заинтересованной старушки.

— Да, я Шамурин, — обернулся он к Кудрину. — А чему я обязан вашим посещением и с кем имею честь разговаривать? — продолжал он, сложив на груди худые кисти рук с вздутыми синими венами.

— В его голосе, тихом и чуть скрипучем, в немножко приподнятых оборотах речи, в том, как он сложил руки, в непринужденной легкости и изяществе этого жеста Кудрин инстинктом почувствовал человека из прошлого, выдержанного, воспитанного и умеющего вести разговор с любым посетителем, выжидательно рассматривая и оценивая его. Но в то же время он уловил в этом старике странное, непрекращающееся внутреннее беспокойство, лихорадку, словно его пожирал таймый от всех, но мучительный горячечный жар. Этот жар и чувствовался в сумасшедшинке таких спокойных и замкнуто-вежливых на первый взгляд темных глаз.

И, словно повинувшись приказу собеседника, Кудрин поклонился и сказал;

— Разрешите назвать себя... Я директор треста «Стеклофарфор» Кудрин.

Старик не выразил ни удивления, ни интереса.

— Возможно, вас удивляет мое посещение, — продолжал Кудрин, но старик остановил его.

— Прошу прощения. Будьте любезны присесть и великодушно извините, я только набью трубку. У меня привычка курить. Разрешите?

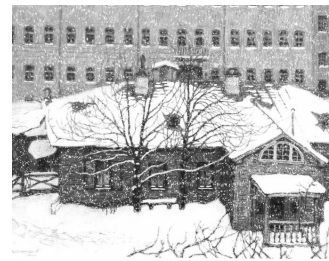
— О, пожалуйста, не стесняйтесь, — ответил в тон Кудрин, ведя игру на состязание в вежливости и предупредительности. И он сел на тяжелый дубовый стул, неподалеку от двери. Теми же бесшумными и по-молодому быстрыми шагами Шамурин вышел в соседнюю

комнату.

Кудрин имел время оглядеться. Стены большой запущенной комнаты с выцветшими обоями, не сменявшимися, видимо, много лет, были сплошь увешаны работами хозяина. Большинство из них были акварели, написанные широко, легкими и прозрачными тонами. Над пианино, против Кудрина, висел прекрасный, в полный рост, портрет женщины в бальном платье, своей мягкостью и расплывом напомилавший ему портреты Карьера. Эта расплывчатость контуров еще усиливалась слабым освещением простенка, и на холсте отчетливо выделялись только белые, точеные руки.

Стена направо была заполнена рядом рисунков, угольных и акварельных набросков к уже знакомой гравюре.

Их было около тридцати. Два или три изображали в разных вариантах пейзаж, остальные бесконечно повторяли фигуру и особенно лицо девушки. Один больше других привлек внимание Кудрина. На большом листе ватмана угольным карандашом быстро, нервно, с вдохновением было нарисовано лицо девушки, несколько крупнее натуральной величины. Видимо, художник стремился не столько к достижению сходства с оригиналом, сколько к передаче того выражения бесплодного ожидания и отчаяния, которое поразило Кудрина на выставке. Поразительной была сила лепки. Лицо буквально выходило из плоскости бумаги, казалось объемным. Вписанное в ватман крупными штрихами, лицо жило своей, самостоятельной жизнью, и от мучительного страдания, которое запечатлелось в каждой его черте, Кудрину стало не по себе. Он с усилием отвел взгляд от глаз девушки и тут же отметил, что рама обвита венком из хвои и креповой лентой. Внизу на раме была медная карточка с какой-то надписью. Кудрин привстал со стула, желая прочесть ее, но в эту минуту вернулся Шамурин, раскуривая на ходу старинную немецкую фаянсовую трубку.



— Чем могу служить? — повторил он, останавливаясь против Кудрина в той же позе со скрещенными руками.

— Видите ли... возможно, вы удивитесь, но я видел .на выставке вашу гравюру. Она поразила и глубоко тронула меня. Я не говорю пустых комплиментов, это правда, — поспешил сказать Кудрин, увидев, что лоб художника пересекся хмурой вертикальной складкой. — Она поразила меня правдой и силой, давно мной не виденными. Я хотел приобрести ее, но кассирша сообщила, что гравюра не продается. Но я так заинтересован ею, что вот решил разыскать вас и просить: если вы не желаете расстаться с оригиналом, — оттиснуть для меня дубликат.

Говоря это, Кудрин невольно заторопился, видя с недоумением, что Шамурин хмурится

все сильнее и сумасшедшинка выступает в его зрачках яснее, как проступает рисунок под стеклом, с которого стирают пыль. И едва Кудрин окончил фразу, как Шамурин поднял руку.

— Следовательно, милостивый государь, — заговорил он, напирая на букву «м», — если я изволил вас правильно понять, вы желаете купить мою гравюру из цикла «Белые ночи»?

Спрашивал он с той же подчеркнутой любезностью, не повышая голоса, но в этой любезности и особенно в ненатурально тихом тоне Кудрин почувствовал назревающую непонятную опасность. Но, еще не осознав ее, он ответил:

— Вы поняли правильно...

Он не договорил. Шамурин резко бросил трубку на стол, шагнув к двери, рывком распахнул ее и, указав на ее пролет Кудрину, так же тихо, но с угрозой, произнес:

— Убирайтесь вон!

Кудрин растерянно встал, думая, что старик чего-то не понял.

— Простите!.. Но вы меня неверно...

— Вон! — повторил Шамурин с тем же жестом.

— Но что же я вам сделал?

И вдруг старик затопал по полу своими худыми ногами и пронзительно-тонко закричал:

— В она Сейчас же убирайся, каналья! Кровь мою покупать пришел?.. Кровь?.. Сгинь, рассыпья, лукавый!

Он шагнул к Кудрину и пахнул на него сивушным перегаром, перекрестил грудь мелким крестиком и тем же пронзительным фальцетом запел: «Да воскреснет бог и расточатся врази его», — наступая на посетителя и тесня его к порогу.

Озадаченный Кудрин, защищаясь от Шамурина поднятой к лицу левой рукой, выскочил в коридор. За ним мгновенно щелкнул засов, и голос, заглушенный филенкой, продолжал распевать псалом.

Кудрин чертыхнулся и бросился к выходу. На первом шаге он наткнулся на что-то мягкое. Оно жалобно пискнуло. Кудрин остановился в темноте.

— Кто тут?

Шамкающий шепот давешней старухи прошипел ему на ухо:

— Это я, батюшка... Да никак вы с художником поцапались?

Кудрин пожал плечами:

— Черт его знает. Сумасшедший он у вас, что ли?.. Выгнал меня без всякой причины. Что с ним?

— Господь ведает, батюшка. Только с тех пор, как у него дочка Татьяна Алексеевна померла, царствие ей небесное, он как бы с точки стронулся.

— У него дочь умерла?

— А как же... В запрошлом годе в воду бросившись. Враз супротив дома. Милиция набежала. Скорая помощь, народ, ан не тут-то было. Летом канал курица переходит, а утопленницы найти не могли. Только через три месяца у Екатеринбургфа вытащили... По одному надальону на шейке опознали, а то всю миноги обьели, — тараторила болтливая старуха. — Вот он с того времени и не в своей жисти. Человек тихий, а как найдет это на него, — не дай бог. На племянницу мою, на хозяйку Лизавету Семеновну, с ножиком кидался... Пьет, почитай, без просыпу,— шептала старуха.

Кудрину стало противно оставаться в темной дыре коридора и слушать этот шепот, Захотелось на воздух, на свет. Отстранив старуху, он выскочил из квартиры, сбежал вниз и всей грудью вдохнул вечерний ветерок с Невы.

Ехать домой после происшедшего было невозможно. Вместо рассеяния и успокоения поездка окончательно выбила Кудрина из колеи, и он не знал, что делать. Нужно было придумать какое-нибудь нейтральное место, где провести_сегодняшний вечер. Сев в машину, он сообразил, что еще не обедал, и ему сразу захотелось есть. Он решил заехать в Деловой клуб, а оттуда в заводской клуб, проверить то, о чем ему говорил в вагоне Половцев, тем более что жалобы на неудовлетворительную работу клуба ему приходилось слышать уже не раз от многих людей.

8

Подъехав к Деловому клубу, Кудрин отпустил шофера. Шофер, по свойственной всем шоферам заботливости к «своему» седоку, изумился и даже обиделся:

— А как же вы домой поедете, товарищ Кудрин? Неужто на трамвае?

Шофер презирал трамваи всем существом. Он смотрел на них, как мы смотрим на прабабушкины дормезы, и его сердце заливалось горькой желчью обиды от сознания, что директор может поехать на этой несовершенной и гнусной грохочущей колымаге, когда в наличности есть автомобиль. Но Кудрин успокоил его:

— Нет, товарищ Григорий. Я не знаю, сколько времени пробуду здесь, и не знаю, поеду ли отсюда домой. А кроме того, мне хочется пройтись пешком. Езжай.

Шофер недоуменно попрощался и уехал.

В столовой клуба Кудрин наткнулся на крупного инженера-электрика, только вернувшегося из заграничной командировки, и, пользуясь случаем поговорить с человеком, у которого много новых впечатлений, подсел и его столику.

Кудрин знал инженера как человека консервативного, плохо воспринимающего новые формы, и заинтересовался, как отразились в нем ощущения Запада.

Инженер подробно и обстоятельно говорил о необычайном росте техники в Германии. Его умиление перед изумительным расцветом металлургии и химии в стране, только что перенесшей тяжесть проигранной войны, граничило с фетишизмом, он становился поэтом, описывал оборудование заводов и фабрик, которые ему пришлось повидать. Рассказывал, он забывал о еде, цветная капуста стыла перед ним на тарелке, а он продолжал восхищаться и, вспомнив об отечественной промышленности, безнадежно махнул рукой.

— То есть, простите, даже вспоминать не хочется. Если сравнивать, то как же можно сравнивать электрический плуг и соху каменного века? Мы — соха, Запад — электрический плуг.

Кудрин слушал его с затаенной улыбкой. Он ждал именно такого восторженного преклонения перед Западом от этого дельного, знающего, но до мозга костей консервативного работника. И, как бы желая окончательно выяснить внутреннее лицо собеседника, обронил вскользь:

— Да, конечно, мы — отсталая страна. И отсталая во всех областях. Не только в машиностроении и металлургии, но и в других. Хотя бы культура?..

Инженер положил вилку и посмотрел на Кудрина пристальным, цепким взглядом, в котором промелькнуло лукавство.

— Эге?.. Хотите поймать неприемлющего спеца? Хм... А знаете, что я скажу, что при всей моей восторженности и умилении перед западной техникой, я не остался бы там, хотя, казалось бы, для меня, инженера, есть огромный простор для настоящего творчества, вместо нудного затыкания дыр в издыхающем допотопном производстве. Не остался бы ни за какие коврижки. Здесь я, может быть, и ненужный человек, но человек. А на Западе больше нет людей. Есть номера. Инвентарные номера. Вот.

Рассказав Кудрину много любопытного, он простился и ушел. Кудрин дообедал один. Вспомнив по уходе инженера свою необычайную встречу с Шамуриным, он расхохотался и повеселел.

«Черт... Наскочил сумасшедший на сумасшедшего»,— подумалось ему, и, почувствовав облегчение от этого искреннего смеха, он решил выбросить из головы злосчастную мысль о приобретении шамуринской гравюры.

Повеселев и успокоившись, он направился в заводской клуб.

В клубе быстро заметили приход директора, и не успел Кудрин отдать макинтош и кепку швейцару, как к нему подлетел завклубом с радостной, явно продуманной для высокого посетителя, сладко-внимательной улыбкой.

— Товарищ Кудрин? Самолично пожаловали? Очень, очень рады, — проговорил он скороговоркой, потирая ладонь о ладонь. — Милости просим. Я вам сейчас покажу все

хозяйство.

Он осторожно, почтительно, как официант в ресторане важного клиента, поддерживал поднимающегося по лестнице Кудрина под локоть.

Кудрин с неудовольствием освободил локоть и раздраженно сказал:

— Я не маленький, товарищ. Могу сам ходить.

Улыбка завклубом стала еще слаще и предупредительный, он всем существом выражал беспредельное одобрение директорской шутке. По коридору он пошел впереди Кудрина, выпятив грудь и раздвигая толпившуюся публику, не обращая никакого внимания на встречаемых, как ледокол, ломающий льдины.

Он повел директора в комнату правления клуба, где по стенам висели аккуратненькие, казенно-одинаковые диаграммы, оттуда в шахматно-шашечную комнату, в комнаты изо-, музо- и фотокружков.

Везде было чисто и уныло-безлюдно. В комнате музозащиты человек десять мандолинистов и балалаечников скучно разучивали «Кирпичики» с вариациями на темп марша, и Кудрин вспомнил насмешку Половцева над танцульками в «два прихлопа — три притопа».

Выйдя из комнаты музозащиты, завклубом подошел с таинственным лицом к запертой двери и, священнодействуя, вынул из кармана ключ. Щелкнув замком, он распахнул дверь и включил свет. В середине комнаты на закрашенном под бронзу пьедестале, стоял бюст Ленина, окруженный столами. На столах в новеньких переплетах, с бумажными рубашками на них, были разложены в особом, очевидно самим завклубом придуманном порядке, сочинения Ленина. На стенах, затянутых красной саржей, висели в окантовке плакаты с изречениями Ленина. Все было скучно и бездушно, неживленно и резало глаза.

Но завклубом расцвел самовосхищением и, показывая Кудрину рукой на представшее великолепиие, сказал экстазным тремоло:

— Уголок Ильича, товарищ Кудрин.

Кудрин посмотрел на зава и пожал плечами:

— Уголок Ильича? Почему же он заперт? Для кого он существует?

Зав не услышал в тоне вопроса директора непосредственной опасности и так же самодовольно ответил:

— Он у нас образцовый, товарищ Кудрин. Мы его открываем только в торжественные дни, а то натопчут, нагрязнят. Нельзя.

Кудрин шагнул к столу и наугад раскрыл том Ленина. Книга сверкала чистотой девственной и неоскверненной, было видно, что к ней не прикасались святотатственные руки читателя.

Кудрин бросил книгу на стол и, повернувшись к Заву, в упор спросил:

— Много читают?

Зав выразил на лице испуг:

— Что вы, товарищ Кудрин. Мы этих книжек не даем в руки. В читальне есть дешевое издание. А это только для уголка.

— Ну, а что же у вас делают посетители в праздники, когда их допускают в это святилище? — уже зверея и с трудом сдерживаясь, спросил Кудрин.

Зав продолжал беспечно улыбаться.

— Придут, посидят, посмотрят на Ильича, — так сказать, память о вожде, — почитают лозунги.

Кудрин сжал кулаки:

— Придут и посмотрит? Память о вожде? А книги вождя лежат неприкосновенными?! Слишком дороги для черни? Вас, уважаемый, из клуба помелом к чертовой матери за такую работу. Поняли?

Зав отшатнулся. На вспотевшем лице улыбка сменилась искренним и отчаянным недоумением.

— Помилуйте, товарищ Кудрин, за что же? Я — не покладая рук... Комиссия из треста, культкомиссия были, благодарили за работу, признали клуб образцовым. Разве ж можно каждый день допускать? Изгадят, книги истреплют в неделю. Кудрин окончательно вспылil:

— Скажите комиссиям, что они бюрократы. Я их поблагодарю! Завели церковь вместо клуба. Мухи у вас дохнут, калачом сюда живого человека не заманить.

Зав беспомощно взмахивал руками.

— Оставьте, — сказал Кудрин, утихая, — вы не мельница. Ну вас с вашим клубом. Идите по своим делам, я сам досмотрю все, что мне захочется.

Он вышел из ленинского уголка с отвращением и яростью. Пройдя еще несколько безотрадных помещений, он наугад рванул какую-то дверь. За столиком, на котором стоял радиоприемник, сидело несколько ребят с наушниками на головах. Другие возились над батареями в углу.

У всех были серьезные, сосредоточенные лица, они были целиком погружены в свое дело. На звук открывшейся двери все обернулись, как по команде. Кудрина обдал огонь сердитых взглядов. Кто-то из ребят махнул на него рукой, другой сказал негромко, но явственно: — Что шляешься, папаша, без дела? Закрывай дверь и уходи!

Кудрин засмеялся и захлопнул дверь. Во всем клубе радиоуголок оказался единственной по-настоящему живой комнатой. И то, что ребята, увлеченные делом, встретили его откровенно враждебно, как ненужную помеху, празднующегося бездельника, просто

обрадовало его.

Усмехаясь, он прошел в зрительный зал. На пороге его опять встретил виляющий и лебезящий зав.

— Пожалуйста, товарищ Кудрин, Я вас провожу в первый ряд, я вам распорядился кресло кожаное поставить из правленской комнаты.

— Оставьте меня в покое! — зыкнул Кудрин, — Садитесь сами в свое кресло, хотя вам лучше в галоше сидеть.

Зав, заморгав, отлетел от свирепого директора. Кудрин протискался в один из средних рядов на свободное место, а, как только сел, в зале погас свет.

Вечер начался постановкой одноактной пьесы «Парижская коммуна». Какой-то досужий драмодел перекроил для сцены новеллу Эренбурга из «Тринадцати трубок», напичкав ее без меры героическими тирадами, исполненными стопроцентной коммунистической доблести.

От деревянных лакейских слов терялись молодые актеры-кружковцы, не находя в своих ролях ни одного живого места, от которого можно было бы оттолкнуться, чтобы заученные фразы могли наполниться мясом и кровью, выступить рельефом и затрепетать подлинным чувством.

И оттого, что терялись и скучали актеры, скучал и вполголоса разговаривал о своих интимных делах зрительный зал, оставаясь совершенно равнодушным к страданиям и героизму коммунаров.

После пьесы и небольшого антракта начались выступления солистов. Трестовская машинистка спела несколько романсов жидковатым, но верным голоском, потом была коллективная декламация, затем счетовод сыграл на гитаре с двумя грифами цыганские мелодии, и наконец конферансье объявил, что сейчас выступит «гордость советской эстрады» куплетист Язвинский.

На сцену вышел встреченный радостными рукоплесканиями зала вихляющийся и напудренный юноша в кепке, насунутой на лоб, одетый под лиговского кавалера. Он прошелся, кокетничая по сцене, подмигнул первому ряду и хрипловатым голосом объявил, что споет модные куплеты о половом вопросе.

Лязгнул рояль, и молодой человек, закатив глаза и подергивая задом, затянул речитативом частушки. Две первые были только глупы, но на третьей Кудрин с недоумением оглянулся на притихший зал.

Молодой человек пел:

Изнасиловать девчонку -
Это может каждый шкет...
Ты попробуй старушонку
В шестьдесят примерно лет...

Зал грохнул рычащим желудочным хохотом и аплодисментами. Кудрин привстал. Ему казалось, что вся аудитория должна крикнуть куплетисту что-нибудь резкое, грубое, потребовать прекращения номера, но зал визжал и выл от удовольствия.

Кудрин, закусив губу, наступая на ноги сидящих, выбрался на середину зала и размахисто пошел к выходу. На него оглянулись и зашикали.

У выхода Кудрин опять натолкнулся на завклубом.

— Послушайте, вы что же, с ума сошли? Что вы делаете? — крикнул он, уже давая волю бешенству.— Как вы выпустили этого мерзавца? Кто мог разрешить петь заборную похабщину?

Завклубом, побледнев от директорского налета и пяясь, ответил:

— Так это ж, товарищ Кудрин, самодеятельная работа. Частушки писал наш предкультикома товарищ Завьлов, и литколлегия их утвердила.

— Ладно, — сказал Кудрин, направляясь в раздевалку, — завтра же поставлю вопрос о снятии с работы всего руководящего персонала клуба и закрою его до тех пор, пока с новым составом не будет создан советский клуб вместо публичного дома. Культурники, черт вас задери!— грубо бросил он в лицо завклубом, надевая макинтош, и, плюнув, вылетел на улицу.

На улице было пасмурно. К ночи собрались тучи. Моросил серебристый бусенец. Мокрые торцы блестели неровным дешевым зеркалом. Кудрин пошел по тротуару, не надевая кепки. Мелкие прохладные капли приятно свежими воспалившую голову и приносили успокоение.

Идя, Кудрин заметил, что поравнялся с домом, в котором жил приятель, работавший на заводе точной механики, тоже старый партиец и душевный, внимательный к человеческому человек.

Совсем неожиданно ему пришло в голову завернуть к этому приятелю, посидеть и поговорить с ним о том, что волновало и будоражило его последние дни. И едва успела промелькнуть эта мысль, его ноги сами завернули в подъезд. Поднявшись во второй этаж, он позвонил.

Дверь открыл сам приятель.

Узнав посетителя, он радостно закивал седой, аккуратно подстриженной бородкой.

— А, Феденька!.. Здорово, милый, — приветствовал он Кудрина, — вот нежданный гость в радость. Я одинешенек вечерую, баба с ребятами в цирк махнула... Да что с тобой? Какой-то ты сумный, или стряслось что?— спросил он, участливо вглядываясь в Кудрина и таща его за собой в квартиру.

— Да ничего особенного, Никитич. Поговорить вот с тобой хочу

— — Ну, идем, идем. Я как раз чайшко на примусе нашпарил. Сам домовничаю. Как это

у немцев раньше-то было... А? Кирхе, кюхе, кинде,— так, что ли? Три ка, кака.

Он сузил добрые стареющие глаза в узенькие щелочки, лукаво-насмешливые, и втянул Кудрина за собой в комнату.

На покрытом клеенкой столе парил чайник. Никитич усадил Кудрина.

— Ой-ой, милый, что-то мне твое обличье не нравится. Ты погляди на себя... Эх, мать честная, зеркала нет... ну хоть в чайник поглядишь, жаль, баба закоптила. Ишь губы как подобрал. Внутреннее трясение, что ли?

— Пожалуй, что и так, Никитич, — нервно ответил Кудрин. — Вот хочу с тобой потолковать.

Никитич сразу посерьезнел и пытливо посмотрел на гостя.

— Ну вот, выпей чаю и выкладывай,— без усмешки, с ласковым вниманием сказал он, подвигая Кудрину стакан, и сам сел напротив, положив локти на клеенку и подпирая ладонями подбородок.

Кудрин залпом выпил обжигающий горло крепкий чай и сразу почувствовал облегчение от ласкового голоса приятеля, от его настоящей, неделанной внимательности, от чувствуемого желания товарища быть по-настоящему полезным пришедшему.

И, волнуясь немного, он заговорил. Он рассказывал по порядку обо всем, что случилось с ним за последние дни, событие за событием, мысль за мыслью, как допрашиваемый рассказывает опытному и благожелательно настроенному следователю.

Никитич слушал не меняя позы, только чуть-чуть склонив голову к левому плечу.

— Вот, Никитич, дорогой. Может быть, я путаюсь, может быть, я куда-то уклонился, я не могу сам себе дать точного отчета. Ведь как-то странно, понимаешь. Казалось бы, разная совершенно у нас психология и установка. Партиец и спец. Марксист и черт его знает кто... идеалист... мелкобуржуазный осколок, сменовеховец, а я вот спорить с ним не могу. Так, поступаю ему на философский хвост по обязанности, а вот рассуждения его по части культуры нашей, некуда правду деть, в морду бьют без промаху. Неужто мы этого участка и в самом деле за другими делами не заметили? Тогда новый фронт. И какой фронт! Почтище всех остальных, фронт моральный перестройки. Постройка нового человека на новых дрожжах, А пока кругом действительно же мещанский чертополох. Взять хоть этот номер в клубе. А кто виноват? Не они же. Мы, ответственные! Вожди! Зарылись с башкой в бухгалтерию, калькуляцию и канцелярщину, а под носом у нас такие «дома культуры»... Так что ты скажешь?

Никитич поднял голову и опять лукаво сощурил глазки. В этом сощуривании Кудрину показалось что-то общее с взглядом Ленина, и от этого сходства стало тепло.

Никитич, помолчав, сказал:

— Хорошо, что пришел. И что за сердце тебя все это — взяло, тоже хорошо. А расстраиваться, милый, не след. Совсем не след. Поймал явление, уясни. А уяснивши, вырабатывай тактику, но без горячки и без тревожления. Спец у тебя, видать, с башкой, но на то она и спецовская, чтобы видеть плохое, да не знать, как с ним справиться. Вот он панику и разводит, как сметану в щах. Мещанство? Накипь? Хлам? Похабщина? Разложение? Кто же этого не видит? А видеть — это значит для нас сознавать и бороться. Тебя пугает? Вот я тебе притчу расскажу, по писанию. Этот самый манер притч не только для поповских проповедей пригоден. Он и нам мастит. Ты у моря живал?

— Бывало, — сказал Кудрей, с каким-то особенно радостным вниманием слушая Никитича.

— Ну? Вот и ладно. Я подле него, косматого, неумного, всю молодость протер. Тихое море видал? Хорошо? Во как стеклышко, дно видать, а поверху шелком смеется. Ни соринки. А налетит штормяга, раскачает зеленую муру, вздыбит, взбаламутит, перетрет ветряными лапами, и всплывет наверх черт-те што. Сор, щепка, тянь, дерьмо всякое по мути плавает. И чем пуще шторма — тем более сметья поверху. Вот и смекай. Мы не то что штормягу, ураган подняли, с самого дна все вывернули. Утрясется погода — дрянь сама потонет.

— Да ведь не тонет, Никитич, а все шире расплывается.

— Брось, брось трусить. Так и в море. Сверху уже стихнет как будто, а внизу все еще раскачано и всплывет наверх. Только разница, что морю никто не поможет ускорить процесс потопления дряни, а мы это можем сделать. А раз тебя это волнует, милый, тогда и книги в руки. На одном деле был полезен, на другом, может, вдвое годишься. Мы теперь, как офени-коробейники, должны в себе всякий товар иметь, или вроде пожарных, — где пожар, туда и скачи. Так-то, Федюша, милый, — сказал Никитич, — хватит еще дела на три смены. А теперь, знаешь-ка что, ложись ты у меня переночевать. Нечего на ночь глядя трепаться. Небось устал, да и сам говоришь, дома несладко. Я тебя сейчас на диване устрою, а утром еще покалякаем.

Кудрин поблагодарил. Он ощущал в самом деле мучительную слабость. Напряжение, не отпускавшее его весь день и поддерживавшее в состоянии боевой готовности, разрядилось беседой с хозяином и перешло в реакцию приятного изнеможения. Он послушно, как ребенок за отцом, вышел вслед за Никитичем в его маленькую рабочую комнатку и, с трудом дождавшись, пока Никитич устроил постель, свалился на диван и, едва успев сказать Никитичу «спокойной ночи», заснул.

9

Кудрин бережно повернул ключ и отворил дверь квартиры, стараясь не делать шума. В семь утра его разбудил Никитич, пришедший продолжить вечернюю беседу. Они

проговорили еще с час, и Кудрин отправился домой переодеться после дороги.

Когда он подъехал к дому, была половина девятого, и, подымаясь к себе, он подумал, что Елена, наверное, еще спит. Он рассчитывал тихо сделать все, что нужно, и уехать в трест. Ему хотелось еще оттянуть неизбежное и неприятное объяснение по поводу разговора с Манухиным.

Но едва он открыл дверь в столовую, как увидел Елену, совсем одетую, за столом. Она пила чай, веки у нее были немного припухшие.

Кудрин, несколько озадаченный встречей, которой не ожидал, остановился в дверях и нарочито небрежно, будто он всего полчаса назад видел Елену, сказал:

— Здравствуй. Что так рано?

Елена, не оборачиваясь к нему, продолжала пить чай с блюдечка.

Кудрин видел по наклону ее головы, по запылавшим кровью ушам, что она злится, и, чтобы положить предел глупому состоянию, стыдясь ненужной попытки лжи во спасение, сухо и сурово сказал:

— Я думаю, что если ты не хочешь разговаривать со мной, то можно сказать об этом прямо, а не молчать, как поповна, обиженная на жениха. Мне нужно с тобой поговорить.

Елена поставила блюдце на стол и подняла голову. Рот ее искривился брезгливой гримасой, и во взгляде Кудрин увидел мутную ненависть.

— Думаешь, я не знала этого? — ответила она странно придушенным и в то же время визгливым голосом, какого Кудрин никогда не слышал у нее. — Ну что же, давай разговаривать. Это вовремя и кстати. Пospал у актрисы и приехал объявить жене, что она «не удовлетворяет тебя развитием, отстала» и так далее, как полагается.

Кудрин невольно попятился. Проглотив набежавшую слюну, он недоуменно произнес:

— Ты что, рехнулась? У какой актрисы?

Елена вскочила. Отброшенный стул закачался и странно перевернулся вокруг оси на одной ножке, как будто танцует, и это почему-то ясно и точно запомнилось Кудрину.

— Не ври!.. Не ври, не вывертывайся. Даже на правду мужества не хватает! — закричала Елена. — Вы все одинаковые подлецы. В кармане партбилет, а в душонке собачий блуд... Разговаривать хочешь? О чем? Все ясно.

Кудрин прижал к груди сложенные руки, как делают обиженные несправедливым обвинением дети.

— Елена, — сказал он насколько мог спокойно, — что с тобой? Я ночевал у Никитича. Я скажу тебе по правде: вчера, когда я приехал из Москвы и узнал от Манухина о твоём дурацком доносе, я не хотел ехать домой, чтобы не наговорить со зла лишнего и ненужного. Вечером из клуба зашел к Никитичу поговорим о кой-каких серьезных вопросах, которые

меня волнуют, устал, разволновался, и Никитич уложил меня у себя. Какая актриса? И как тебе не стыдно клепать, как базарная баба, на хорошую, умную женщину. Я не узнаю тебя.

Елена повернулась к нему спиной. Он видел, как по этой широкой, пышной, знакомой спине ходят волны нервной дрожи. Не оборачиваясь к нему, она сдавленно ответила:

— Можешь врать что хочешь. Ты думаешь — я ревную. Да плевать мне на тебя и на нее. Вот добро, подумаешь, чтобы из-за тебя плакать. Я уже давно тебя раскусила. Да, раскусила, голубчик. Знаю твою породу. Коммунист эпохи военного коммунизма. А как дошло до мирной работы, до настоящей работы, где вот нужно в будничной грязи копать, в «скудном» деле покорпеть, проявить способность к организованной работе, тут вам сразу не по себе.

«Поэзии нет», — протянула она с подчеркнутой иронией презрения, — вот и ищите «поэзию». Дома ее не найдешь, жена — партийка, работает, не мажется, не душится, кругом «пошлость», серость, необразованности... Да что говорить. Предупреждала я тебя, пыталась остеречь, ведь как-никак много под одной крышей прожили, а вижу, что напрасно остерегала. Хватит!

Кудрин засмеялся. Все происшедшее показалось ему диким бредом, нелепостью, сумбурной чепухой, на которую стоит махнуть рукой, и она рассыплется, развеется, как мираж. Он шагнул вперед и просто, дружески сказал:

— Ну, Ленушка, ну, брось дурить. Может, я действительно свинья, что не позвонил тебе от Никитича, не предупредил, что не приеду домой, заставил волноваться. Да ведь и ты хороша. Чего натворила? Ну какой черт тебя понес к Манухину в контрольную? Дуровато ведь. И сама в дуры попала, потому что толком же ничего не сказала, одни голые слова о разложении, а где разложение, в чем, — сама не знаешь. Ну, что ты скажешь?

Он сознательно шел на примирение. Он видел, что Елена по-настоящему, глубоко и болезненно обижена, и обида женщины, с которой было пройдено рука об руку много путей, уколола его жалостью, И он положил руку на плечо Елены.

Она отшатнулась в сторону и сбросила его руку. Опять повернулась к нему, и он не узнал ее искаженного тупой злобой лица.

— Не тронь! — крикнула она. — Чего лезешь? Напакостить, а потом хвостом вилять? Думаешь, мне одной взбренилось, что ты разлагаешься, что ты от партии оторвался, зачванился, со спецами хороводишься? Об этом все говорят уже и пальцами в тебя тычут. Я к Манухину не доносить на тебя пошла, пока еще не на что доносить было, а было бы — так и



И. Хвалевич

донесла бы, потому что ты мне не только муж, но и партиец. Я хотела, чтоб тебе хоть в контрольной указали иа твои уклончики. Меня не слушаешь, — надоела, глупа, неразвита, так, может, контрольную послушаешь. Я, прежде чем к Манухину пойти, битых пять часов с Семеном советовалась.

— Обо мне? С Семеном? — спросил Кудрин, побледнев.

Все стало ясно для него. Он вспомнил, что после выставки Елена в его машине поехала к Семену. Семена, работавшего раньше в агитпропе дивизии вместе с Еленой, а теперь ведавшего орготделом одного из союзов, Кудрин органически не переносил еще со времени фронта. Крепкий, в сущности, человек, неплохой кабинетный организатор, но никудышный оратор, которого никогда не выпускали говорить с красноармейцами в сомнительных случаях, так как у него отсутствовали необходимые агитатору такт и чутье минуты, он в области общего мышления поражал какой-то исключительной ограниченностью. Для него еще в большей степени, чем для Елены, все проблемы, возникавшие вокруг, были опытным полем для применения заученных рецептов и теоретических аксиом.

Эта прямолинейная ограниченность и отсутствие гибкости мысли, позволяющей в различных случаях применять комбинированные методы тактики, приводили к дурным результатам. Назначенный однажды комиссаро сводного полка, составленного из бывших партизан-махновцев, он своими приемами довел полк до восстания, подавленного с большой кровью, причем сам спасся только благодаря счастливой случайности. После этого его держали при агитпропе только на организационной работе, и Кудрин как-то в разговоре с начальником агитпропа сказал о Семене, что это коммунист, при котором_более необходим комиссар, чем при любом военспеце.

— У него партийные руки, — сказал Кудрин, — но к этим рукам всегда нужно прикреплять стороннюю партийную голову, обладающую способностью критически мыслить и направлять руки.

Елена же с того времени была в тесной дружбе с Семеном, и эта дружба продолжалась до сих пор, несмотря на то, что Кудрин не раз доказывал Елене всю ограниченность и узость Семена.

Обозленный тем, что Елена советовалась с Семеном о нем, Кудрин грубо бросил ей:

— Кроме этого болвана, другого советника не могла найти?

Елена вспыхнула.

— Не все такие умные, как ты, — ответила она злобно, — мы люди простые, глупые, делаем маленькую черную работу, в вожди не лезем, но и не гнием.

Кудрин с растущим негодованием смотрел на жену.

Лицо ее, с подтянутыми губами, показалось ему противно ханжеским и глупым.

— Не знаю — загнию ли я, но вот что вы загнили на мелком уровне азбучных знаний партшколы низшего типа, это верно. Учиться вам еще надо, дорогие товарищи. Учиться. А то вы не партийцы, а безмозглые начетчики.

— Лучше быть начетчиком, чем ждать, когда выгонят из партии за гниение.

Кудрин потерял хладнокровие.

— А, черт! — вскрикнул он. — Хоть кол на голове теши. Ты знаешь, кто ты? Ты не женщина, не человек, не партийка, ты... — Он запнулся, ища слова пооскорбительнее для удара, и, вспомнив одну из первых встреч с Еленой и ее безграмотные доклады, закончил с злобным удовольствием: — Ты «кертпидш». Как была тупым кирпичом, тем кирпичом и осталась.

Елена вздрогнула и, вскинув голову, глухо ответила:

— Да, училась на медные копейки. Неученая. Но попрекать неграмотностью может не партиец, а старорежимный негодяй.

И бросилась из комнаты, рывком хлопнув дверью.

Кудрин рванулся за ней, остановился, чувствуя, что мутное и требующее немедленного выхода бешенство от неожиданного оскорбления подступает к горлу. Он хрипло дышал и водил глазами по комнате, ища невидимого врага. И глаза нашли его. На книжных полках стояла купленная однажды Еленой ему в подарок гипсовая статуэтка работницы со знаменем в руках. Скульптура была бездарная и насквозь фальшивая. Кудрин ничего не сказал Елене, чтобы не обидеть ее, и работница водворилась па полку.

Теперь Кудрин увидел ее словно впервые. Озверев, он схватил статуэтку и, размахнувшись, с силой пустил ее в дверь, через которую выбежала Елена.

Дерево гулко грохнуло под ударом, гипс брызнул во все стороны, поплыл по комнате медленно оседающей пылью. Мутный прилив злобы упал, подсеченный уничтожением статуэтки.

Кудрин провел рукой по глазам, схватил портфель и поспешно вышел из квартиры.

Уже на улице он опомнился и устыдился своей несдержанности

«Должно быть, действительно нервы шалют, — подумалось ему, — нужно к врачу».

Со встретившим его в тресте Половцевым Кудрин поздоровался сухо. Ему не хотелось разговаривать с профессором, почему-то казалось, что Половцев знает уже о происшедшем дома. В насмешливом взгляде профессора Кудрин подметил какой-то огонек, показавшийся ему злорадствующим лукавством, хотя он понимал, что Половцеву совершенно неоткуда было узнать о столкновении Кудрина с женой.

И, сунув на ходу руку Половцеву, Кудрин поспешно, как бы стыдясь, проскочил к себе в кабинет.

Среди обычных докладчиков и посетителей в середине дня к директору пришел старик гончар, тянувший ляжку на производстве двадцать семь лет и сейчас увлеченный изобретательской горячкой. Он сделал за последнее время несколько мелких приспособлений к машинам, которые если и не совершали никакого переворота в производстве, то, во всяком случае, улучшали отдельные процессы. Теперь, поощренный пятисотрублевой премией, он с головой ушел в разработку проекта электрической глиномешалки, которая должна была, если мысль изобретателя окажется правильной, в корне перевернуть процесс заготовки сырья для гончарных мастерских.

Изобретатель, фамилия его была Королев, пришел к Кудрину с жалобой на завком, который, по его мнению, не проявлял никакого желания добыть средства на первые опыты и постройку модели глиномешалки.

Он вошел в директорский кабинет немножко бочком, подвигаясь мелкими, но порывистыми шажками, как воробей, подбирающийся к зерну, подойдя к столу, закивал сухой седенькой головой, покрытой непокорными белыми вихрами.

Глаза у него были крошечные, узенькие, лежали в сети веселых промытых морщинок и поблескивали упрямыми блестками, в которых Кудрин заметил не только живую мысль человека, но и нечто большее, некий фанатизм, почти маньячество. Старик словно находился в состоянии постоянного умственного опьянения. Узенькие щелки глаз видели мир только через призму своей навязчивой идеи, и возможно, что сам директор в эту минуту казался ему не руководителем большого хозяйственного организма, а какой-то наиболее существенной и ответственной частью механизма глиномешалки, владеющей воображением старика.

Кудрин приветственно улыбнулся старику:

— А, дед Черномор! Садись, садись. Ну, как ноги носят? Поди опять жаловаться пришел? Рассказывай, чего там тебе надобно.

Старик сложился, как перочинный ножик, и присел на краешек стула, пригладив лохматые и редкие усы.

— Да как же, — заговорил он, точно продолжая давно начатый и известный собеседнику разговор, — я ж им говорю: «Сукины вы дети, неужто ж я для себя придумываю? Я ж для завода, для общего котла. Вам же, дуракам, легче станет. Чего кашейничаете? Дадите копеечку — тыщи можно сберечь, а вы как жилы какие».

Он положил локти на стол, подался весь к Кудрину и умильно-убеждающе продолжал:

— Послушь, Артемьич, возьми ты их, чертей, под ноготь. Ведь всего расходу на модель целковигов триста, дак ведь она сколько даст, сам понимаешь. Мне ж от нее купонов не стричь. Ну, коли нет денег, ну, пускай в счет премии мне дадут, потом вычесть можно. Ляд с ней, с премией. Пока еще зарабатываю, да и сыны хлеб имеют, не помрем с голоду. А мне ее,

Артемьич, в ходу видеть, в ходу только опробовать. Может, мне жизни-то осталось, сколько у воробья на хвосте. Помру и не увижу. Ну, как же это?

Он в волнении и совершенном недоумении привстал и смотрел на Кудрина узенькими щелками, в которых пылало неутоленное ожидание.

Кудрин, в свою очередь, смотрел на изобретателя, сдвинув брови, со странным выражением. Казалось, что он видит сквозь старика что-то другое, чего никак не может вспомнить и осмыслить.

Ускользящая мысль настойчиво ныла у него в голове, словно подталкивая и нашептывая: «Да вспомни, вспомни же, ведь ты это видел уже, такое же лицо». И, сделав последнее усилие, Кудрин вспомнил. От неожиданности он даже откинулся на спинку кресла.

Конечно. Это выражение неутоленного желания, растворенности человека в одной всецело им владеющей мысли, порыве, напряженном и энергическом, — как можно было сразу не узнать его?

В маленьком, высохшем в чадном воздухе цехов, сморщенном личике, с взъерошенными белыми вихрами, в фигуре, налегшей на стол всей грудью, как будто желая уничтожить преграду из дерева и сукна между ним и директором, он узнал то же выражение, которое видел у девушки на гравюре Шамурина. Но там было отчаяние, там самая надежда была безнадежна и не сулила ничего, кроме гибели, — здесь ожидание было пронизано трепетной и неистребимой верой в исполнение.

Но сила завладевшей человеком эмоции была так же выразительна и полна такой же мощи. И, словно поддаваясь категорическому императиву лежащей вне его воли, Кудрин через стол крепко пожал сухую, твердую, как деревяшка, лапку старика.

— Хорошо, Черномор. Не беспокойся. Сделаем. Пиши сейчас заявление.

Старик заморгал. Беки заплыли блестящей пленкой слезы.

— Эх, уважил, Артемьич, старика. Спасибо тебе, директор. Ты уж сам напиши, как полагается, а то я очки забыл, волновавшись, а без них, треклятых, не вижу.

Кудрин вырвал лист из блокнота, быстро написал заявление от имени старика и сунул ему.

— Накарябай подпись, Черномор. Как-нибудь, лишь бы прочесть можно было.

Старик, окунув лицо в бумагу, вздыхая, медленно вывел подпись. Кудрин снова взял у него бумагу и написал красным карандашом резолюцию: «Выдать за счет кредитов на рационализацию производства».

- Ну, вали в бухгалтерию, — сказал он, вставая.

из-за стола и подходя вплотную к старику, — получай на руки и работай.

Старик взял бумажку трясущейся рукой и потянулся к Кудрину. Кудрин, засмеявшись, обнял старика.

— Чего расчувствовался? Вали, вали, скорей получай, а то я раздумаю.

Морщинки у глаз старика сошлись хитрой сеткой.

— Не раздумашь, директор, — ответил он, — не таковский. Ну, прощай, всякого тебе счастья.

Старик, заплетаясь ревматическими ногами, заковылял к двери. Кудрин с теплой улыбкой проводил его и, вернувшись к столу, позвонил и приказал вошедшему курьеру распорядиться подать машину,

В ожидании он задумался над столкновением, происшедшим утром дома. Сейчас ему казалось, что он был не совсем прав, взяв по отношению к Елене сразу непримиримый, осуждающий тон. Он подумал о ее характере, резком и угловатом, о том, что с ней надо говорить совершенно спокойно, тоном дружеского убеждения, а не обвинения. И он решил поговорить с ней так, попытаться выяснить спокойно, что, собственно говоря, заставило ее занять по отношению к мужу такую враждебную позицию.

И, подъезжая к дому, обдумывал, как лучше подойти к ней, чтобы не вызвать новой вспышки.

Войдя в квартиру, он спросил у встреченной в прихожей, вытиравшей пол домработницы:

— Елена Афанасьевна дома?

Домработница посмотрела на него шалыми деревенскими глазами, и в этих глазах Кудрин увидел то же явное неодобрение и отчуждение, которое было во взгляде Елены. Это заставило его улыбнуться и подумать: «Баба за бабу горой».

Домработница отерла руки о тряпку и равнодушно ответила:

— Елена Афанасьевна уехали, а вам письмо оставили.

Кудрин не понял.

— Давно уехала? Что же, она вернулась из райкома и, не пообедав, уехала?

Домработница ухмыльнулась непонятливости хозяина:

— Да она сегодня в райком и не ходила. Как вы утре уехали, она вещи склала в чемодан, после села писать и...

Кудрин, не дослушав, распахнул дверь и ворвался в столовую. На столе лежал оставленный нарочито на виду конверт. На нем не было никакого адреса и имени.

Кудрин рванул его и вытащил письмо.

Елена широким и неловким почерком писала:

«Федор, я уезжаю. Продолжать дальше жизнь с тобой при отсутствии взаимного уважения и товарищества не нужно. Спасать тебя я не намерена, если ты сам не хочешь одуматься. Попадать вместе с тобой в историю было бы глупо, поскольку я предупреждала тебя от ложных шагов. В чужой беде похмелье мне не улыбается. Если хочешь разлагаться, разлагайся один. Я ушла к Семену. У него мне проще и яснее...»

Подписи не было. Почерк был такой же, как всегда, ничто не выдавало волнения

писавшей.

Кудрин ощутил вдруг неприличное и неуместное спокойствие. Существовали раз навсегда установленные рецепты для такой сцены. Можно было схватиться за голову, сделать трагическое лицо или скомкать письмо и швырнуть его в угол, или упасть головой на стол и поливать письмо слезами, или, наконец, выругаться.

Кудрин с удивлением понял, что ничего этого ему не хочется делать. Ему только очень захотелось есть. Это желание было сильнее всего. Он обернулся к прислуге, искоса жадно наблюдавшей за впечатлениями хозяина. Ее неискушенной деревенской душе казалось, что сейчас должна грянуть гроза, в которой рикошетом и ей может попасть от удара молнии. Но вместо этого она услышала равнодушное приказание подавать обед. Она не поверила своим ушам, все еще ожидая грозы, как бы вызывая ее страшных духов, сказала осторожно:

— Так ведь Елена Афанасьевна уехамши.

Кудрин аккуратно положил письмо Елены на стол с улыбкой, которая ему самому показалась невероятно глупой, ответил.

— Что на первое?

— Уха, — упавшим голосом отозвалась домработница, сраженная прозой.

— Ну и давайте уху. А Клена Афанасьевна обедать не будет.

Домработница презрительно повела плечом и оскорбленно удалилась. Во время обеда, подавая еду и убирая посуду, она смотрела на Кудрина с осуждающим сожалением, словно оскорбленная до глубины души тем, что этот здоровый мужик, вместо того чтобы броситься за беглянкой и приволоочь ее за косу домой, уплетает с аппетитом обед.

Пообедав, Кудрин ушел в кабинет.

Голова домработницы просунулась в дверь.

— Ничего не нужно, Федор Артемьевич? — спросила домработница, и в голосе ее трепетала последняя надежда на чудо.

Но так же спокойно Кудрин ответил:

— Ничего. Идите гулять.

Домработница вздохнула и ушла рассказать кухарке соседней о невероятном происшествии. Кудрин сидел и пристально смотрел на узор обоев.

«Ушла... И к кому? К Семену. Впрочем, что же. Пара хоть куда. Благополучные тупицы. Настоящий кирпич. Ну и пусть. Кирпич к кирпичу — дом будет».

Он усмехнулся и, машинально придвинув лист бумаги, взял карандаш.

Впервые за долгие годы карандаш зачертил на бумаге не строки резолюций и тезисов, а неожиданные резкие линии. Сначала это были автоматические движения руки, и линии разбегались по листу неопределенными зигзагами, дугами и углами, но понемногу

разорванные очертания стали стекаться к одному центру, яснеть, становиться выпуклыми, приобретать отчетливую и крепкую форму, и вдруг Кудрин, томительно удивившись, увидел, что из-под карандаша выходят черты лица девушки с шамуринской гравюры.

Это заинтересовало его. Он отодвинул рисунок, взгляделся в него, потом опять придвинул ближе и налег на карандаш. Черты девушки проступили еще яснее. Но, как ни старался Кудрин восстановить по памяти выражение ее лица, оно не давалось. Было сходство, но сходство только внешнее, сходство искусной подделки. Внутренняя экспрессия, психологическая подкладка не проступала из-под сухого очерка.

Кудрин с сердцем разорвал лист и схватил другой. Но и на другом после упорной работы получилось то же обманчивое, не проникавшее в глубину сходство. Он закрыл глаза, с мучительным напряжением пытаясь вспомнить ту одну мельчайшую, незначительную, неуловимую черточку, которая должна была сразу наполнить кровью мертвый скелет рисунка. Но вспомнить не удавалось.

Он думал об этой ускользающей черточке, а рука машинально, независимо от мысли, продолжала чертить, когда с неожиданным озлоблением, отбросив надежду на удачу, он взглянул на рисунок, он привстал от изумления.

Карандаш . самовольно зачертил лицо девушки резкими штрихами, сузил глаза, рассыпал вокруг них сеть мелких морщинок, вылепил растрепанные вихры, и с бумаги, улыбаясь, с сочувственной хитрецей смотрела на Кудрина уже не неизвестная девушка, а старый Королев, самоотверженный и смешной для других изобретатель.

Сходство поразило Кудрина. Если ему никак не давалось внутреннее душевное выражение девушки, то такое же выражение старика, упрямая и фанатическая вера маньяка своей идее, с резкой силой проступала из-под перекрестья карандашных линий, и Кудрин почти испугался необычайного эффекта. Он отбросил карандаш, вскочил и сжал руками виски.

— Что за черт? С ума я схожу, что ли? — вслух сказал он и тут же ощутил, как вошла в него и разлилась по телу баюкающая усталость. И, улыбнувшись ей, обещавшей избавление от ненужных и терзающих мыслей, он лег на оттоманку и закурил, И, едва успел сделать две затяжки, папироза выпала из ослабевшей руки и веки сомкнулись сном.

Вернувшаяся домработница любопытно заглянула в щель двери, опять в полном недоумении покачала головой и осторожно прикрыла дверь.

Опустевшая с уходом Елены квартира опротивела Кудрину. Приехав на следующий день после разрыва к обеду домой, Кудрин ощутил особенно колюче и томительно пустоту комнат.

Как всегда бывает, когда в доме умирает или уходит из него давний и привычный человек, комнаты стали неожиданно большими, уютными, раздражающе гулкими.

Обедая в маленькой столовой, Кудрин чувствовал, будто его посадили за стол в огромном пустом зале, где холодно, смутно, и если обронишь шепотом слово, оно грянет из всех углов, отраженное и размноженное тяжелым эхом.

Это ощущение лишило его аппетита, он с трудом проглотил суп и отказался от второго. Ушел в кабинет, лег на тахту, развернул газету, но читать не смог. Ухо напряженно ловило квартирные шорохи. Они казались таинственными и пугающими. И все чудилось, что вот сейчас откроется дверь и войдет незнакомый и ненужный, но несущий неизбежное несчастье человек.

И когда действительно зашевелилась, поворачиваясь, дверная ручка, Кудрин нервно привскочил с дивана, с неприятной щекоткой в корнях волос на затылке, но, увидя входящую домработницу, вспыхнул и на нее и на себя.

— Что вы шляетесь, не постучав? — злобно спросил он.

Домработница стоически скрестила руки на животе и смотрела на хозяина с жалостной иронией.

— Дак я думала — вы не спите, а мне спросить, что на завтра готовить. Мне откуда же знать без хозяйки, — заговорила она мямлящим ватным голосом, в котором было бабье жестокое презрение к существу враждебного пола, попавшему в трудное положение.

— Что готовить?

Кудрин опешил. Он мог справиться с любым затруднением, но перед кулинарией растерялся, как дикарь перед граммофоном, и, глупо улыбнувшись, ответил:

— Что-нибудь. Ну, я не знаю... Ну, то же, что сегодня, черт побери, и оставьте меня в покое.

Домработница ехидно улыбнулась и пошевелила животом.

— Где же это видано? Сегодня суп и голубцы и завтра суп и голубцы. Что ж, целый год одно и то же готовить? Хорошее дело.

Кудрин рассвирепел:

— Ничего не надо готовить! Ни черта, — понимаете? Вот... — Он раскрыл бумажник и бросил домработнице два червонца: — Берите и кормитесь сами. Я дома обедать не буду. Себе делайте, что хотите. Поняли? И оставьте меня. Ну!..

Домработница повернулась, и шваркнула дверью. Из столовой донеслось ее удаляющееся ворчание. Кудрин скомкал недочитанную газету, сунул ее в карман, оделся и вышел из дому.

В последующие дни он совсем забросил дом. Он приезжал только ночевать и все время с утра до ночи проводил в тресте и на бесчисленных заседаниях.

Его охватила яростная, нервная жажда работы. Он набросился на трестовские дела с такой энергией и таким темпом, что сотрудники управления делами и заведующие отделами только тяжело вздыхали от гонки и шепотом перебрасывались между собой догадками о причинах его делового исступления.

Каждое замедление, каждая неувязка вызывали у Кудрина неистовую злость, и приступы этой злости испытали на себе все работники треста от замдиректора до швейцара.

Как всегда, каждый день Кудрин встречался у себя в кабинете с Половцевым. Но беседы между ними прекратились.

Кудрин не мог отдать себе ясного отчета, за что он внезапно почти возненавидел Половцева. Неосознанное чувство нашептывало ему, что происшедшая в доме ломка имеет косвенное отношение к разговорам с Половцевым, но в то же время он понимал ясно, что профессор ни на йоту не повинен в ходе событий.

А Половцев, также чувствуя явную враждебность директора, не делал никаких попыток к объяснению и только крепче замыкался в панцирь сухой, но безупречной деловитости.

И Кудрин, невольно подчиняясь веянию пронзительного холода этой деловитости, принял по отношению Половцеву такой же деловой и суховатый тон, воздвигавший между ними незримую, но непроницаемую стену.

И чем больше нажимал и усиливал темп работы Кудрин, тем точнее и суше становился Половцев.

Свою прорвавшуюся энергию Кудрин не ограничил пределами узкослужебной работы. Вспомнив свой визит в клуб он обрушился на его правление, разогнал и разворошил его и, сконструировав новое, проводил свободные часы в клубе, инструктируя и направляя работу.

Он задумал провести циклы научных и литературных докладов, сам ездил к профессорам и писателям упрашивал выступать, указывая на важность этого большого начинания.

В то же время он сам захотел прочесть в коллективе доклад на тему, связанную с ролью искусства в советской общественности. После нескольких дней раздумья он остановился на теме «Изобразительное искусство как отражение классовой культуры».

Проработав два вечера над разработкой темы, он заявил отсеку о своем намерении. Отсек поглядел на него с некоторым недоумением.

— Что-то тема какая-то такая... непартийная, — сказал он меланхолично.

Кудрин удивился:

— То есть как непартийная? Почему? В общественной жизни нет ни одной темы, которая могла бы быть непартийной. А особенно тема, связанная с вопросами культуры.

Отсек почесал нос и так же меланхолично промолвил:

— Оно так, да боюсь, что ребята скучать будут. Больно что-то отвлеченно.

Но Кудрин стоял на своем. И был неприятно поражен, когда во время доклада, внимательно наблюдая за залом, убедился в правоте отсека.

Первые десять минут его слушали несколько недоуменно, но внимательно. Затем внимание стало медленно, но неуклонно рассеиваться. Послышался сначала легкий шепот, потом разговор вполголоса, кое-где рты стали сводить зевками, и на второй половине доклада из середины и задних рядов стали вставать и выходить, сначала пробираясь на цыпочках, а после не сгибаясь и откровенно стуча каблуками.

Но самым показательным симптомом было почти полное отсутствие записок, ясно определившее незаинтересованность и равнодушие аудитории.

За весь доклад Кудрин получил три записки от полтора десятка в среднем слушателей. Две, пустячные и несерьезные, доказывали, что зал не был глубоко затронут докладом. В одной спрашивалось: «Кто нарисовал картину, где Иван Грозный убивает сына, и почему эту картину изрезали?» В другой: «Почему в картинных музеях много картин, где изображаются боги, и почему этих картин не снимают, а оставляют их в то время, как они есть религиозная пропаганда?»

Третья была серьезной. Ее подал угрюмый худенький комсомолец с заячьей губой, сидевший с края второго ряда стульев. Он спрашивал:

«По мнению докладчика, мы не должны огулом отбросить все искусство буржуазии, но должны принять из него все ценное, переварить и на основе накопленных буржуазией культурных сокровищ создать свою культуру и искусство. Так вот пусть докладчик ответит — есть ли какие-нибудь отличительные признаки, по которым можно точно определить, что из этого наследия буржуазного искусства приемлемо для нас и что неприемлемо. Есть ли какой-нибудь полный и ясный критерий для такого разграничения?»

Кудрин с возрастающей неловкостью перечел записку. Она ставила его в тупик. Он тщетно пытался вспомнить какую-нибудь формулу, которая исчерпывающе разъясняла бы вопрос, и не мог. И в этот момент вся затея с докладом показалась ему преждевременной, наивной, донкихотской, и он с растрavляющей горечью понял, что, собираясь поучать других проблемам развития пролетарского искусства, сам он настолько оторвался от этих проблем, стал чужд им, что ему необходимо много и долго учиться, вместо того чтобы выступать с легкомысленной болтовней.

И на записку комсомольца он ответил запутанно и неясно, что точного критерия нет, что его, пожалуй, невозможно установить, ибо трудно найти безошибочные классифицирующие признаки, а потому главную роль в оценке пригодности: буржуазного наследия должно играть здоровое классовое пролетарское чутье и интуиция и для всякого марксистски мыслящего человека понятно, что враждебно пролетарской революции и что может быть использовано ею.

По кривой усмешке вздернувшей заячью губу комсомольца, Кудрин понял, что ответ не

удовлетворил. От недоверчивой, хмурой усмешки юноши ему стало стыдно и нехорошо.

Прений по докладу не было желающих высказаться не нашлось, и Кудрин, обрадовавшись этому, быстро уехал.

Когда он вошел в квартиру, диковато хмурый, досадующий на себя и свое незнание, домработница, вешая его пальто, пробормотала:

— Нет вас и нет, а тут телефон бесперечь трескотит, все ноги оттопала, бегаюча к нему. Все вас спрашивают.

— Кто?

— А откуда ж мне знать? Какой-то голос такой малахольный, чуть слышать.

Кудрин расхохотался и прошел в кабинет. Не успел положить портфель, как телефон снова задребезжал тонко и просительно. Кудрин снял трубку с рычажка.

В ответ на его «алло» в трубке заверещало, запищало, захрюкало неразборчиво и жалобно. Булькали отдельные слабые звуки, и сложить из них слова было невозможно.

— Не слышу. Кто говорит? Говорите громче! — крикнул Кудрин, вслушиваясь.

Звуки стали ясней, и Кудрин начал разбирать:

— Тов... хр... рищ Кудрин... кек... хрр... я до тебя... кек... насилу... хр... дозвонил... кек... Это я... хр... Королев... с заводу...

Кудрин не узнал искалеченного голоса и лишь по фамилии вспомнил старого чудака-изобретателя.

— А, Черномор, — отозвался он, — здравствуй. Что, вспомнил?

— Здравствуй, директор, — ответила трубка ровнее, — я тебе с обеда названиваю. Завтра на заводе мешалку мою пробуют, так ты приезжай обязательно. Ты ей вроде крестного приходишься, на зубок дал младенчику. Так без тебя пускать не хочу, надо, чтобы ты поглядел.

— Ага, — отозвался Кудрин, — уже сварганил, старина? Приеду, приеду обязательно. В котором часу?

— После... хрр... обе... кек... да. Часу в шестом, седьмом... хр... когда... кек... хррр... повольгот... хрр... ней... — снова стала давиться трубка, — обязатель.. хр... но.

— Ладно! Приеду, — сказал Кудрин, усмехаясь и представляя свое взволнованные морщинки на высохшем личике Королева.

Положив трубку, он, продолжая улыбаться, открыл ящик стола и, порывшись в бумагах, вытащил лист, на котором в вечер ухода Елены нечаянно для себя набросал голову старика. Свет настольной лампы пролился на перекрестье свободных и крепких карандашных штрихов. Кудрин откинулся назад и машинально, восстанавливая полузабытую привычку художника, поднес к глазу зажатый кулак. В крошечную щель, образованную согнутым

указательным пальцем и ладонью, он взглянул на рисунок и сам удивился его крепкой лепке и силе.

Он спрятал рисунок в стол, прошелся по комнате, наполненный радостным волнением, засвистал и, круто остановившись, сказал громко и весело:

— Федор! Есть еще порох в пороховнице.

И, засмеявшись, снова заходил из угла в угол. Потом подошел к столу, взял листок почтовой бумаги, сел в кресло, протянул руку к лежавшему на столе вечному перу и после короткого раздумья застрочил.

Исписав обе стороны листка, он отложил перо и неторопливо, словно еще раз обдумывая каждое написанное уже слово, перечитал письмо:

«Дорогой мэтр. Ваше неожиданное послание было для меня странной и нечаянной радостью. Словно на мгновение распахнулась маленькая дверь в полузабытый, но милый мир. Так бывает, когда вспоминаешь самые счастливые часы детства. Но я хочу огорчить вас. Вы писали мне в полной уверенности, что я отражаю в своих полотнах жизнь нашей, как вы говорите, преобразенной страны. Страна действительно преобразилась. Вы почувствовали это с симпатией, рожденной в сердце старого вольнодумца, и почувствовали правильно.

Страна стала другой, она выросла, она стала на свои ноги, она живет. Но вместе с страной преобразился и я. С момента отъезда на родину я не брал в руки кисти и карандаша, но часто брал винтовку, а теперь счеты и гроссбухи. Вы изумитесь. Вы скажете: как можно было уйти от искусства? Но, дорогой мэтр, есть эпохи, когда ружейные приемы и бухгалтерские вычисления являются самым высоким и благородным искусством, потому что они служат освобожденному труду. И я, выполняя свой долг, служил революции тем искусством, которого она требовала и требует. Но ваше письмо пришло ко мне в странную минуту, в минуту, когда незначительный случай пробудил во мне прошлое, и я почувствовал томление и тоску по покинутым кистям. И сейчас может настать момент, когда революция потребует от меня искусства кисти. Но я не уверен в себе, я сегодня обнаружил, что я не задумывался ни разу серьезно над вопросом, как должно служить революции кистью. И я боюсь, что годы ушли, что долгий отрыв от живописи не прошел даром, что я буду неспособен выполнить то, к чему меня начинает властно тянуть вновь. Я был бы очень благодарен вам, дорогой мэтр, за дружеский совет учителя».

Кудрин подписался и быстро, боясь раздумать, запечатал письмо в конверт и надписал адрес. Встал и прошелся по комнате. Запечатанное письмо распласталось на красном сукне стола волнующим и тревожным пятном. Кудрин снова подошел к столу, взял письмо и, слегка смяв конверт пальцами, сделал зыбкий и нерешительный жест, словно пытаясь разорвать. Но опустил руку и, открыв дверь в столовую, позвал домработницу:

— Феня! Возьмите письмо и сейчас же опустите в ящик. Не забудьте. Очень срочно.

Домработница вышла. Кудрин постоял минуту. Хлопнула дверь. Он рванулся в переднюю, остановился, сел на диван и, слабея, почувствовал на лбу крупный пот. Машинально вынул платок и старательно вытер мокрую похолодевшую кожу.

На испытание глиномешалки Кудрин приехал необычным путем. Выйдя в шестом часу из здания треста, он увидел над Фонтанкой, над городом, дочи́ста вымытое, звенящее майское небо с пушистыми кругляшками облачков. Вечер был нежно-прозрачный, тихий, задумчивый.

От воздуха, нежно пахнущего молодой листвой, Кудрину захотелось подышать весной.

Вместо того чтобы прямо ехать в машине на завод, он приказал шоферу отвезти себя на Октябрьский вокзал, взял билет на дачный поезд до Фарфоровского поста, слез на посту и узенькой, протоптанной в ядовито зеленеющей росистой траве тропинкой, не торопясь, пошел к заводу.

Земля, еще хранящая в глубине влажность и свежесть снежных вод, курилась прозрачной дымкой, и в этой дымке дышалось глубоко и легко.

За вырастающими корпусами завода лиловели обрызганные солнцем низкие успокоенные линии горизонта.

Справа, вдалеке, как остатки обгоревшего строевого сосняка, вздымались в небо трубы Колпина, застилая даль розовато-серой пеленой тяжело оседающего вниз отсырелого дыма.

Войдя в заводские ворота, Кудрин направился в контору. Контора уже опустела, только в бухгалтерии несколько человек сидели на сверхурочной. Помощник бухгалтера, завидя Кудрина, предупредительно сказал:

— Вас уже ждут, товарищ Кудрин, в сарае, у гончарного. Сейчас позову сторожа, он вас проведет.

Но Кудрин отказался от услуг сторожа и расспросив подробно, как найти сарай, побрел между молчаливыми и тихими после отработанного дня зданиями. Когда он подходил к низкому бетонному сараю с толевой крышей, он услышал шмелиное пение электромотора, и этот напряженный звук указал ему дорогу.

Двери сарая были широко распахнуты, в них плавала солнечная искрящаяся пыль, сквозь которую смутно виднелись копошащиеся внутри человеческие фигуры.

Кудрин вошел внутрь. Вглядываясь, он увидел у большого круглого котла, установленного на временной подставке из попала, технического директора завода, завкомовцев и членов комиссии — инженеров из разных цехов.

Его заметили и встретили дружным приветствием. Здороваясь, он заметил у котла взъерошенную, полную тревоги фигуру Королева. Старик спешно вытирал руки промасленной тряпкой и, отбросив ее, кинулся к директору:

- Пришел, Артемьич? Пришел? Иу, спасибо. Я заждался. Уж прости: думал, что побрезгуешь. Здравствуй здравствуй. Ну, теперь сейчас вот... немножечко еще.

Он пожимал руку Кудрина, суетясь, пританцовывая, глотая концы слов. Не только глаза

его, но вся кожа лица, весь узор морщинок трепетали, дрожали, то освещаясь, то погасая в стремительном и непрерывном двиЕдва успев договорить, он выпустил руку Кудрина и метнулся к котлу. Солнечный луч, косо бивший из окна, на мгновение зажег его седые вихры серебристым сиянием. Он вскочил на шпальную установку, перегнулся и до половины туловища исчез во внутренности котла, заскрежетал чем-то по его стенкам, снова вылез, провел черной от масла ладонью по лбу, вздохнул и осекшимся, подрезанным голосом сказал, обращаясь к комиссии:

— Начинать, что ли?

Стоявший ближе всех к нему инженер, с бородкой Генриха IV, ответил, усмехнувшись с сочувственной жалостью:

— Начинайте, Королев. Да не расстраивайтесь.

Королев отчаянно взмахнул рукой и сказал двум парням, стоявшим поблизости:

— Заваливай, ребята.

Парни отошли в глубь сарая и через минуту подвезли две тачки. Остановив их у котла, они ловко и споро стали перебрасывать содержимое тачек широкими и плоскими лопатами в котел. От каолиновых кусков с сухим шорохом поднялась остро пахнущая беловатая пыль.

Когда тачки были опустошены, один из парней открыл кран спущенной в котел трубы, и из нее со свистом ударила струя воды. Королев, вплотную прилипший телом к стенке котла, не отрываясь, следил за струей и вдруг завопил на парня:

— Запирай!.. Да запирай же, кобель! Кисель, что ли, разводишь?

Парень закрыл кран и, ослабившись, подмигнул в сторону комиссии с ленивой хитрецей:

— А ты похлебай киселя, дед, а то у тебя печенка кипит.

Но Королев, не слушая его, от котла кинулся к мотору. Включил шкив. Звенящее холостое пение мотора сразу упало и перешло в деловой, замедленный и низкий гуд. И одновременно с этим гудом тяжело захлюпала вода, брызнув через край, и над котлом медленно завертелся чугунный диск, на котором, на кулачковых рычагах, заходили тяжелые песты, облипшие беловато-серой пленкой каолина.

Королев выпрямился и застыл, освещенный тем же солнечным лучом. Губы его дрожали, глаза впились в котел, и Кудрин с радостью и волнением увидел то же выражение, которое было у старика, когда он приходил в трест просить денег на постройку мешалки.

В нем была непреоборимая, бьющая через край вера в дело своих рук, полная радости сбывшегося чаяния.

И Кудрин, как тогда в кабинете, вглядывался в преображенные, необыкновенные черты тихого, незаметного старика, которого на заводе все считали немного тронутым манией изобретательства и который творил свою часть общего дела не ради наград и благ, но ради

самого цела, у которого он провел горькую, малорадостную жизнь.

Вдруг Королев, рванувшись вперед, перевел мотор опять на холостой ход и, обернувшись к комиссии, пригласил ее жестом к котлу. Небольшой лопаткой он вынул из котла густую, поблескивающую влагой массу, похожую на оконную замазку, и подал лопатку подошедшему первым инженеру с бородкой Генриха IV.

Немедленно подошел и другой инженер, тяжелый, с синим от бритья лицом, за ним один из завкомовцев. Оба инженера зачерпнули пальцами по щепоти липкой густой массы и стали разминать ее: тот, который с бородкой, лениво и вяло, тяжелый — внимательно и напористо. И, кинув беглый взгляд на Королева, все еще полного порывом бурлящего ожидания, вытянувшегося по направлению к инженеру с синими щеками, Кудрин понял, что этот инженер педант и придира и Королев от него ожидает какого-нибудь подвоха.

Наконец инженер обтер пальцы о лопатку, затем не спеша вынул платок, вытер насухо пальцы и, взглянув на коллегу, сказал скрипуче, как будто недовольный неожиданным результатом:

— Консистенция массы выше среднего качества. Комков незначительный процент. Полагаю, что при дальнейшей разработке формы пестов и ускорении качаний будет давать безупречный продукт. Как ваше мнение, Владимир Львович?

Инженер с бородкой кивнул головой и застенчиво улыбнулся.

— Совершенно разделяю ваше мнение, Шалва Саулович, — ответил он с готовностью.

— Значит, идемте акт писать, — вскрикнул весело завкомовец.

Тяжелый инженер повернулся к изобретателю и протянул ему руку.

— Поздравляю, — заговорил он с чуть уловимым гортанным акцентом, — конечно, я не могу считать вашу мешалку совсем идеальной. В ней ряд недостатков — тяжесть и громоздкость установки, несовершенная конструкция размешивательных пестов и прочее. Но в условиях нашего кустарничества и это — колумбово яйцо.

Королев слушал, полуоткрыв рот и чуть повернувшись к инженеру левой стороной, вероятно лучше слыша левым ухом. Выражение ожидания сменилось теперь суровой торжественностью, и Кудрин внимательно запомнил его преображенные творческим удовлетворением черты.

Когда все, поздравив старика, пошли к выходу из сарая, Кудрин подошел к Королеву:

— Ну, Черномор. С тебя угощение. Крестник мой не подкачал.

Королев растерянно схватил руку директора и затряс ее.

— Спасибо тебе, директор. Другом себя оказал, спасибо, — пролепетал он.

Кудрин положил руку ему на плечо:

— Ты меня не благодари. Я не знаю — кому кого благодарить придется. Пожалуй, мне

тебя.

— За что? — спросил, округляя глаза, Королев.

— Если придется — тогда скажу, а пока до свиданья. Желаю успеха.

Кудрин попрощался со стариком и прошел в контору. Он подождал там, пока был написан акт, первым подписался и, узнав от курьера, что вызванная машина уже пришла, уехал в город.

Подъезжая к Марсову полю, он увидел Летний сад в обманчивом свете начинающейся белой ночи. Ему захотелось пройтись по аллее, и, сказав шоферу, чтобы он подождал его у выхода на набережную Невы, Кудрин вошел в сад мимо глянцево блестящей холодноватым отражением зелени и неба порфирной вазы.

Гуляющих в саду было много; главная аллея была заполнена текучей толпой, и над ней стоял щебечущий стрекот говора и смеха. Кудрину не хотелось вмешиваться в толчею, и он свернул на боковую аллею, идущую вдоль Лебяжьей канавки. На этой аллее было пусто. Только у одной из старых лип кучка восхищенных мальчишек смотрела, как губастый и курчавый человек в сером коверкоте заставлял доберман-пинчера бросаться в воду канавки за палкой.

Кудрин медленно дошел до поворота к выходу на Неву и, мельком взглянув на крайнюю скамейку, остановился, взволнованный и уколотый. В женщине, сидевшей на скамье и рассматривавшей вынутые из портфеля бумаги, он узнал Елену. Спустя секунду она, также заметив стоявшего у скамьи человека, подняла голову.

Глаза ее чуть-чуть потемнели, но лицо осталось спокойным, и она приветливо, но равнодушно кивнула головой Кудрину. Он услышал ее ровный, ничуть не дрогнувший голос:

— А, Федор! Вот неожиданно~ Ты откуда?

В этом вялом, без тени волнения говоре Кудрин не услышал ничего, кроме обычной формулы приветствия. Как будто Елена виделась с ним всего полчаса назад, и ничего не произошло, и самая эта встреча для нее так же незначительна, как десятки ежедневных встреч с чужими людьми.

Кудрип смотрел на нее, не отвечая, стараясь понять, что это: удивительная выдержка или действительно полная невосприимчивость к старой романтике человеческих отношений. Елена слегка усмехнулась:

— Ты что, дуешься на меня? Право, Федор, не стоит. Я ничуть не обижена на тебя, и тебе не стоит обижаться, — И, точно пресекая всякую возможность какого-нибудь иного разговора, кроме пустой болтовни случайно встретившихся знакомых, спросила:

— Гуляешь или по делу? Может быть, на свиданье?

Волнение, вспыхнувшее в Кудрине в первый миг встречи, мгновенно поникло,

замороженное этим бездушным голосом. Он торопливо пожал руку Елены и ответил так же равнодушно:

— Гуляю, но о свидании не думаю.

— Садись, посиди, — указала она на скамью.

— Нет, спасибо, — ответил он, — меня ждет машина У выхода. Шофер устал, не стоит задерживать его.

Она усмехнулась и спросила:

— Ну, как живешь?

И опять в вопросе чуялась полная незаинтересованность, и было видно, что он задан из вежливости. И, собрав все хладнокровие, Кудрин также усмехнулся:

— Да ничего — хорошо.

Оба замолчали, потом Кудрин закончил:

— Ну, до свиданья, — и добавил с чуть заметной иронией: — Кланяйся Семену.

Но Елена не поняла или не захотела понять иронии серьезно отозвалась:

— Ладно. Спасибо. До свиданья.

Кудрин медленно отошел от скамьи. Чувства, взволновавшие его, когда он заметил и узнал Елену, исчезли и сменились холодным озлоблением.

«Дурак, — подумал он, — нашел перед кем раскукситься». И, яростно сплюнув на плиты тротуара набережной, сказал вслух, подходя к ожидавшему автомобилю:

— Кирпич проклятый!

— Какой кирпич, товарищ Кудрин? — спросил удивленный шофер.

— Такой... четырехугольный, — хохотнув, ответил директор, усаживаясь.

На площадке лестницы Кудрин обнаружил, что забыл ключ от парадного, и позвонил. Открывшая домработница сказала испуганно:

— Федор Артемьевич, вас в кабинете какой-то старичок дожидается. Пришел с та-а-аким свертком, — она показала руками величину. — Все требовал вас самолично. Я говорю: «Нет, дескать, дома». А он: «Подожду». И прямо в квартиру лезет. Я его в кабинет провела, сию и трясусь. Кто его знает?.. Да еще и выпимши...

Кудрин с недоумением шагнул в кабинет.

От опущенных штор было почти темно. С кресла за столом поднялась небольшая смутная фигура. Кудрин привычным движением нащупал выключатель, вспыхнул свет, и в стоявшем перед ним в рваном пальто седом человеке с воспаленными и часто мигающими веками Кудрин, отступив от неожиданности, узнал Шамурина.

Шамурин молча, низко нагнув голову, поклонился. Кудрин, не ответив на поклон, смотрел на него недоумело, не понимая.

По щеке художника скользнула легкая судорога, он улыбнулся как-то испуганно-жалко и еще раз поклонился, прижав руки к груди.

— Я понимаю вас,— сказал он тихо, — после нашей предыдущей встречи вам должно быть непонятно, зачем, какими целями я могу осмеливаться явиться к вам?

Голос у него был глуховато-печальный, речь та же, старинно-книжная, с особенными оборотами, подчеркивающими изысканную вежливость.

— Нет... что же,— ответил оправившийся от неожиданности Кудрин. — Правда, я удивлен, но кто старое помянет — тому глаз вон.

— Благодарю вас, — снова поклонился Шамурин.— Примите же мое сердечное сожаление по поводу финала нашей тогдашней встречи. Я очень прошу вас извинить меня, но... — Голос его дрогнул томительных волнением и скорбью. — Но почему вы не сказали тогда, что вы — художник?

— А разве это нужно было? — оторопел Кудрин.

Шамурин быстро вскинул на собеседника глаза и помолчал. Он слегка вздрагивал, как от холода, и покачивался. Кудрин заметил это и подвинул ему стул.

— Вы как будто нездоровы. Присядьте.

Шамурин опустил на стул и провел рукой по лбу.

— Спасибо. Я, собственно, здоров. Но я... впрочем, вы сами должны понять, Я пью... много пью! — с безнадежностью выкрикнул он. — Я не могу не пить. Не могу.

— Успокойтесь, — сказал Кудрин, подходя к нему.— Откуда вы узнали, что я художник? Я сам почти забыл об этом.

— Вы изволили тогда назвать вашу фамилию, но она проскользнула мимо моего сознания. Потом, когда вы ушли, мне стало неловко за мой невежливый и странный прием. Я, вероятно, показался вам сумасшедшим... Нет, нет, не уверяйте меня в обратном. Я сам это знаю. Я навел кое-какие справки о вас. Вы были в Париже... вы — ученик Гренье... венский королевский музей приобрел в салоне «Независимых» ваше полотно "Грузчики Антверпенского порта"? Ведь так?

Кудрин молча наклонил голову.

— Ну видите. Я знаю это полотно. Я считаю его настоящей живописью. И оттого, что я узнал, что вы и тот Кудрин одно лицо, — мне стало еще стыднее. Вы назвали председателем треста. Это была ваша ошибка.

Я знать не желаю никаких трестов. Я не признаю ничего, что существует сейчас. Я выгнал

вас, как человека из несуществующего для меня мира. Какое дело людям, не признающим радости свободного искусства, до меня и моих трудов. И мне нет дела до них. Понимаете? Никакого дела! — Художник сорвался на визгливый шепот. — Я не приемлю, я не замечаю вашего государства. Но вы — художник. И ваш интерес был настоящим, я хочу в это верить.

— Даю вам слово, — перебил Кудрин.

— Можете не давать, — взмахнул руками Шамурин, — я верю. Верю, иначе не пришел бы к вам сегодня, Мне осталось очень немного жизни. У меня аневризм аорты в степени, угрожающей ежеминутной смертью. Я скоро уйду в другую жизнь, в которую я верю, и здесь, на земле, останется только легкий след моего мимолетного захода на нее в начертанном для моего существа пути вечного скитания по вселенной.

Набрякшие от пьянства красные веки Шамурина затрепетали, он весь осунулся.

«Душевнобольной. Явный душевнобольной на мистической подкладке», — подумал Кудрин, и, как бы угадав его мысль, Шамурин усмехнулся:

— Для вас все это бредни старого дурака, галлюцинации психастеника, мистическая ерунда. Не будем спорить об этом. Я скажу опять: на земле останется жалкий след моего существования, обрывки холста и бумаги, не высказанные до конца замыслы, бессильные попытки воплотить виденное



духовными очами. Понастоящему мне должна быть безразлична судьба этого смешного наследства, но в нем есть одна вещь, связанная с самым пронзительным воспоминанием этой жизни. Та гравюра, которую вы видели на выставке и которую вы неосторожно хотели купить, ибо ваш нищенский разум склонен думать, что все в мире может быть предметом купли-продажи...

— Простите, я никак не хотел вас оскорбить, — серьезно сказал Кудрин.

— Да... Конечно. Вы просто не могли поступить иначе, вы не могли понять, и я напрасно рассердился тогда... Так вот, о чем я? Ах да. О гравюре. Я не хочу, чтобы после моего исчезновения к ней прикасались недостойные и нечистые руки. Я принес ее вам. Окажите мне честь принять ее в дар от сумасшедшего старика.

Он с неожиданной живостью встал со стула, схватил стоявший у стола сверток и нервно сорвал с него оберточную бумагу. На столе перед Кудриным, наклеенная на картоне, легла, подчиняя своему необычайному очарованию, знакомая по выставке гравюра.

— Только не отказывайтесь... Только не отказывайтесь, прошу вас, господин Кудрин, — умоляюще забормотал Шамурин, увидя в лице Кудрина нерешительность, удивление, колебание. — Эта вещь — единственное, что я не хотел бы предать забвению или уничтожению. Вы меня чрезвычайно обяжете, если сохраните ее, Ведь это моя выгода, а не

ваша.

— Но, гражданин Шамурин, я не могу принять такой ценный подарок. Вы и я — мы оба знаем цену этой вещи. Я не могу купить ее у вас по той цене, которой она заслуживает. Но ведь вам нужно же жить на что-нибудь. С какой стати я буду обирать вашу старость?

Шамурин отступил назад и посмотрел на Кудрина мрачно и сожалеюще.

— Ах, какие вы чудачки. Какие чудачки вы, большевики, — прошептал он, не сводя глаз с Кудрина. — Вы хотите все измерить на грязные бумажки, липнущие к рукам. Деньги?.. Цена?.. Ха-ха. Вы говорите: вы знаете цену этой вещи? Да? Ее цены не знает никто. Никто не может знать. Ее нельзя купить за все сокровища Голконды, и в то же время она ничего не стоит. Я вижу, — вы в недоумении. Но прежде скажите мне, будьте любезны сказать, что именно так привлекло вас в этой гравюре? Почему вы, предавший свое искусство, отказавшийся от него ради суеты мира, захотели ее? Почему?

Кудрин развел руками:

— Хотя наш разговор принимает очень странный характер и мы говорим на разных языках, я все же попытаюсь рассказать вам о своем восприятии. Я никогда не слыхал вашей фамилии, гражданин Шамурин. Вы, например, больше знаете меня как художника, чем я вас. Вы немолоды, и все же до сих пор вы не создали себе известного имени. Простите за прямоту, но вследствие этого я имею право считать вас безвестным неудачником.

Шамурин наклонил голову, но без насмешки или иронии, как будто соглашаясь со словами Кудрина.

— Вы сами этого не понимаете. И вот на выставке я нахожу работу безвестного художника, на которой лежит явная тень художественного гения. Мы в корне враждебны по нашей основной установке, между нашими мироощущениями пропасть, но гений остается гением, как бы он ни мыслил. И, в частности, в этой гравюре меня поразила неистовая, — да, да, именно так можно определить, — неистовая сила передачи душевного движения. Не одного человека, не одной девушки, изображенной здесь. Нет, всего вашего мира, вашего класса, обреченного, умирающего, не имеющего надежды впереди и с безысходным отчаянием понимания ждущего последнего мгновения, конечной гибели. В этот лист бумаги вложена судьба целой эпохи, вдохновенное пророчество смерти. И меня заинтересовало: почему вы можете передать с такой гениальной экспрессией сумерки, умирание, распад, — и почему наше молодое искусство пока бессильно с такой же глубокой проникновенностью отразить здоровье, целостность и крепкую будущность нашего класса?

И Шамурин еще раз кивнул и странно засмеялся.

— Да. Теперь мне понятно. Вам хочется знать сокровенный смысл искусства, вам, одному из тех, которые полагают, что все в мире можно познать навыком, как любое ремесло, вроде

обивки диванов или вставки оконных стекол. Извольте. Кто-то из великих людей изволил выразиться, что удивление — это начало ума. Вы удивляетесь, — значит, небезнадежны. Тогда я скажу вам. Первому и последнему человеку я расскажу, как создавалась эта гравюра, как она впитывала живую кровь, капля по капле, и как кровь, пропитавшая бумагу, дала ей жизнь.

Он задохнулся, внезапно побледнел и почти грубо крикнул Кудрину:

— У вас есть водка? И не могу этого рассказывать без водки.

— Должна быть. Я не пью, но держу в запасе для приятелей. Вероятно, найдется.

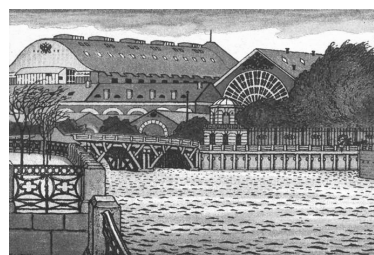
Кудрин вышел в столовую, открыл буфет, разыскал в углу чуть початую бутылку, стопку, прошел в кухню, положил на тарелку два соленых огурца и хлеб и вернулся в кабинет. Шамурин сидел размякший, с закрытыми глазами, веки его нервически дрожали. Когда Кудрин поставил перед ним водку, он залпом выпил стопку, не закусывая.

Кудрин молча ждал. Шамурин провел рукой по усам.

— В тот день, когда вы были у меня, вы не изволили заметить на стенке большой женский портрет маслом?

— Да, видел, — ответил Кудрин, — но не разглядел. Стена темная. Видел только, что женщина молода и, кажется, красива.

— Совершенно правильно. Мало сказать, что она была красива. Она была обаятельна. А я, я тоже был другой, чем теперь. У меня не было ни красных век пьяницы, ни этой серой свиной щетины, ни дрожания рук. Вы понимаете, что значит молодость! Я кончал академию, и я получил заказ написать портрет. Петербургская чиновная семья. Отец в лентах и звездах, заседающий в сенате; мать — расслабленная балами дама, и дочь, — ее портрет вы видели. Словом, это кончилось, как должно было кончиться. Вместо академического диплома я получил административную высылку в Туркестан. Она разорвала с семьей, ей удалось узнать, где я, и она кинулась ко мне. Приехала в Коканд больная лихорадкой, и через две недели ее организм не выдержал родов, и я остался с дочуркой. Я назвал ее, как и мать, Татьяной. Вся жизнь сосредоточилась для меня в этом ребенке. Через пять лет умер ее дед, мне удалось возвратиться в Петербург. Но уже и академический диплом, и заграничная поездка были для меня безвозвратно потеряны. Пришлось удовлетвориться педагогической работой, преподавать рисование в реальном училище и воспитывать Таню.



Шамурин налил стопку и опять залпом без закуски выпил ее. Он весь дергался.

— Успокойтесь, — сказал Кудрин, — подождите немного.

Шамурин резко повернулся к нему:

— Молчите, милостивый государь. Молчите! Не смейте, мешать мне, когда я начал рассказывать то, что я таил ото всех, что я сам боялся вспоминать. Не перебивайте меня... Да... Таня росла... В каждой ее черте я видел повторение черт матери, еще более утонченных и прекрасных. Я обожал эту девочку. Я во всем отказывал себе для того, чтобы она не знала никакого недостатка. Я брал глупые, пошлые ремесленные заказы, чтобы скопить денег на поездку за границу, чтобы показать моему ребенку мир. Перед самой войной, когда ей было четырнадцать лет, мы поехали весной в Германию, Францию, Италию. Я водил ее по всем музеям, сокровищницам культуры, я без меры поил ее вином человеческого гения. Вот тогда в Вене я видел ваших «Грузчиков», только что приобретенных музеем. Из Италии мы поехали морским путем в Норвегию, на фиорды, чтобы провести там конец лета, но в эту минуту грянула война. Теперь я мучительно сожалею, что объявление войны не застало нас в Германии. Мы бы не вернулись в Россию, и, возможно, не произошло бы ничего. Но из Норвегии мы выбрались. Дальше все обыкновенно. Война, революция. Мы голодали, мы бедствовали, но никуда не уехали из Петербурга. С успокоением страны нужно было заняться чем-нибудь. Прожить ремеслом художника было трудно. Для этого требовались молодые руки, быстро приспособляющиеся к новым утилитарным требованиям. А я — станковист. Академик Роговцев в эти годы служил дворником. Я избрал другой путь. Я хорошо знал фарфор, стекло, живопись. Стал комиссионерствовать, продавать и покупать старину. О, сколько былых состояний и коллекций переходило через мои руки. Заработок был сносный, мы ожили. И тогда я стал подумывать о том, о чем должен думать всякий художник, — о том, чтобы создать один раз в жизни вещь, которая даст право на память. Я люблю Достоевского, я чувствую его. Больше всего я чувствую «Белые ночи», потому что я сам родился и вырос в этом городе, потому что в белые ночи я и Татьяна, старшая Татьяна, полюбили...

Третья стопка водки, булькнув, ушла в горло — Шамурина. Его глаза закровавились и начали стекленеть. Голос рвался.

— Ну вот. Я задумал эту гравюру. Бы понимаете, как трудно найти натуру для Настеньки. Это лицо нельзя выдумать, его надо выловить в гуще жизни, но где в жизни, особенно теперешней, найдешь такое лицо! Ведь это должно быть не лицо человека только, не одного индивидуума, это должно быть. лицо страдающего в любви, обреченного и оскорбленного человечества!

— Не человечества, а класса, — сказал внезапно Кудрин.

Шамурин опять вздернулся:

— Не перебивать, говорю вам! Мальчишка!.. — и, тяжело задышав, продолжал: — Трудно было даже мечтать найти такое лицо. Десятки эскизов и рисунков летели в клочья. В эти дни я познал муку ненасытности, я изнемогал от нее в призрачном мире своих видений. И

однажды, придя домой, я увидел, что Таня, моя дочь, мой ребенок, которую я считал, несмотря на ее двадцать четыре года, малюткой, стоит у окна и смотрит на жалкий пейзаж канала с каким-то особенным выражением тоски и муки. Я не спросил ее ни о чем, я не знал, о чем она тоскует. Я как будто бы ослеплен ударом молнии. Ведь это было то, чего я так напряженно; так страстно и так напрасно искал в своей памяти, воображении и во встречных лицах. Это была Настенька, тоскующая, оскорбленная и безнадежно любящая. У меня помутнело в глазах. Я схватил бумагу и карандаш и заработал, одержимый. Я стремился хоть мимолетно запечатлеть это виденье. И мне это удалось. Я рассказал Тане о моем замысле и посвятил ее в то, что эта работа должна быть заключительным звеном моего творческого существования. И что этой работой я уберегу свою память от забвения в этом на мгновение посещенном мире. Она радостно согласилась помочь мне. Я стал работать целыми днями, запоем, страшно, неотрывно. Я держал ее в этой, тогда подмеченной позе, у окна, заставляя смотреть на страшный в своей убогости пейзаж петербургских задворков. Она становилась к окну, молодая, преданная, полная сил и бодрости, счастливая тем, что она помогает мне, сияющей улыбкой. Но постепенно могильный чад этого жуткого угла, душные испарения гниющей воды, трупные пятна, штукатурки сгоняли краску с ее щек, стирали улыбку, лишали блеска глаза, и она становилась похожа на пленницу, навеки заключенную в каменную, безвыходную коробку. Ее губы сжимались в гримасу смертельной тоски,— она вся опускалась, как будто раздавленная тяжестью кубов гранита, оковавших канал. И тогда я хватал карандаш, или сангвину, или перо и начинал работать. И с каждым новым рисунком все ярче и все явственней выступал облик Настеньки.

Мамурин замолчал и прижал ладонью лоб, как бы пытаясь вспомнить образ, о котором он говорил. Помолчав, продолжал:

— Я уже говорил вам, что в то время я жил покупкой и продажей антиквариата. Сам я не мог справиться с беготней по аукционам и квартирам, где продавались эти осколки. Я состарился, меня мучил ревматизм. И у меня появился компаньон. Его звали Крымовым. Николай Данилович Крымов. Молодой, лет двадцать восемь. Бывший гвардейский корнет, из хорошего старого дворянства. Смуглый, красивый, веселый, широкоплечий. Он тоже прекрасно знал старину, умел разбираться в горах выносимого на аукционы хлама, умел находить в каких-то трущобах подлинные уники и приобретать их за гроши. По нашим делам он часто бывал у меня. Но мне никогда не приходило в голову, что он красив, что он мужчина, что у меня взрослая и прекрасная дочь. Это было возмездие судьбы.



Звездоносный родитель моей Татьяны тоже никогда не помышлял о том, что его дочь может

полюбить наемного маляра, которому заказан портрет ее ослепительной молодости. Я проглядел возраст моего ребенка, я не мог угадать, почему она тосковала в тот день у окна, смотря на канал. Ей хотелось любить, милостивый государь, а я, старый дурак, ничего не понимал. Как они полюбили — я не знаю. Но однажды, когда я сидел за работой, я увидел, что скорбное выражение на лице Татьяны сменилось какой-то ребяческой радостью, и ее щеки вспыхнули пожаром. Она быстро повернулась ко мне и сказала: «Папа, я устала немного. Я пройдусь». И, не выслушав моего ответа, она бросилась из комнаты, стремглав, с той же сверкающей и наполненной улыбкой. Несколько удивленный, я собрал в коробку угли, которыми работал, и подошел к окну без всякой другой цели, как опустить приподнятую занавеску. И вдруг я заметил на другой стороне канала у мостика знакомую фигуру в сером пальто. Я не мог ошибиться — это стоял Крымов. И в то же мгновение увидел, как через мостик легкой походкой, стремительная, как чайка над водой, бежала на ту сторону канала Таня. Я застыл у окна, потрясенный неожиданной и мучительной догадкой. Я весь трепетал. Я в этот час терял моего ребенка, которому я отдал всю свою жизнь.

Таня добежала до Крымова. Он протянул навстречу ей руки, и она охватила их. Слегка откинувшись назад, как будто желая лучше видеть, она смотрела ему в глаза, и я видел из окна, как изумительно прекрасно и светло она засмеялась навстречу своей любви. Крымов взял ее под руку, и они, тесно прижавшись друг к другу, пошли вдоль канала и скрылись из глаз. Я почувствовал, как по всему моему телу выступил липкий, обессиливающий пот, и на несколько минут потерял сознание. Придя в себя, я сел за книгу и стал ждать возвращения Тани.

Она вернулась часа через полтора. Я исподлобья смотрел и ждал, когда она войдет из передней, раздевшись. Я увидел ее спокойной, принявшей свой обычный вид. Ничего нельзя было прочесть на ее безоблачном лбу. Я спросил ее, где она была, спросил тоже спокойно, невзначай, как спрашивал каждый день до этого, но сам чувствовал, что голос у меня дрожит от обиды и ревности. Но она не заметила перемены в моем голосе, она была полна собой, своим счастьем и просто, без тени смущения ответила, что гуляла. «Одна?» Она засмеялась: «Ну, с кем же мне гулять, папа? У меня и знакомых нет. Я .. такая стала домоседка». Я задрожал, я задохнулся: Таня, моя дочь, солгала мне. Я не мог больше оставаться дома. Я тоже под каким-то предлогом ушел из дому и до ночи скитался по улицам, думая о законе возмездия. Я решил ничего не говорить ей. Если она не хотела сказать мне правду, я не чувствовал за собой права исторгать у нее правду насильем. Я с мукой примирился с судьбой отца и только дал себе слово беречь ее, от беды. Я ничего не мог иметь против ее любви к Крымову. Он был честный, воспитанный, энергичный, не ломавшийся под ударами судьбы. Он мог быть хорошим мужем, и в конце концов я уверил себя в том, что все идет нормально,

что девушке в двадцать четыре года пора полюбить, что она имеет право на свое счастье, и как мне ни страшно было потерять ее, но я же должен был помнить, что законы природы имеют свою логику. Все могло бы кончиться хорошо, если бы не несчастная мечта тщеславия, не суетная мысль, что моя жизнь художника должна быть закончена созданием вечной ценности. Я не знаю, что произошло между ними в тот вечер. Вероятно, впервые они объяснились до конца, впервые сказали ужасное слово «люблю». Но с этого дня Таня стала неузнаваема. Она наполнилась непреходящей, неугасимой радостью. Когда в течение нескольких дней после этого вечера я ставил ее в избранной позе к окну и начинал работать, меня брало дикое и злобное отчаяние. Ничего похожего на созданный мною и виденный образ в ней не было. Вы понимаете?

— Да, — тихо ответил Кудрин, замороженный этим рассказом, — понимаю. Исчезло выражение тоски и обреченности, которого вы так искали.

— Да... да... да, — перебил Шамурин, наполняя стопку, — да. Исчезло, Исчезло навсегда, и его нельзя было воскресить никакими силами. Я мучился, я ломал угли, я просил ее принять грустное выражение, но все было бесполезно. Она светилась насквозь тихой удовлетворенностью, и нарочное выражение печали, которым она хотела угодить мне, — ведь она же по-настоящему меня любила, своего старого отца, — мгновенно сбегало, как сбегает шарики воды с раскаленной железной плиты. Меня охватило безумие неудачи. Забывший обо всем, кроме своей суетной цели, я терзался мыслью, как поправить дело, как заставить мою натуру, моего ребенка, страдать и тосковать, как она тосковала раньше. И дьявол вдохнул в меня проклятую мысль. Не смейтесь, милостивый государь: вы можете не верить, но не имеете права улыбаться! — закричал он на улыбнувшегося невольно Кудрина. — Что вы понимаете в этом? .. Да, дьявол внушил мне эту мысль. Я с упорством маньяка стал думать, что, если бы с Крымовым случилось какое-нибудь несчастье, если бы он попал в какое-нибудь безвыходное положение, хотя бы временно, или уехал бы куда-нибудь, — я спас бы свою работу, я смог бы достойно закончить рисунки, чтобы начать резать на дереве.

Я придумывал тысячи планов, один фантастичнее другого, как заставить мое дитя, мою плоть страдать и тосковать, как нанести удар ее любви и счастью. И, отбросив тысячи планов, я, безумец, остановился на подлом, неслыханном, которому нет названия. Но я был безумен тогда, и мне казалось, что все позволено для искусства.

Вы понимаете, милостивый государь, что в таком деле, как антиквариат, в наши дни, для того чтобы добыть любителю нужную ему вещь, есть ходы, которые идут вразрез с требованиями закона. Особенно когда дело касается дворцовых и музейных фондов. И вот я поручил Крымову одно такое дело,



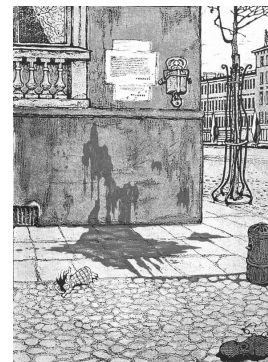
заранее создав обстановку, при которой его попытка сталкивалась с надзором властей. Дело было пустячное. Я несколько знаю законы, и все должно было окончиться двумя-тремя неделями подследственного ареста. Я, с воспаленным мозгом, толкнул человека, которого любила моя дочь, на это дело. Он пошел и был арестован. В этот день Таня, как всегда, вышла погулять, но вернулась скорее обыкновенного, и я, наблюдавший за ней, как зверь из засады наблюдает за своей жертвой, с невероятным, почти сладострастным удовлетворением заметил в ее лице растерянность, недоумение и тревогу. Но она ни одним словом не выдала себя. Утром она ушла из дому. Я знал, что она идет на квартиру Крымова, но не подал вида. Она вернулась в полдень, потрясенная, уже не в силах скрывать своих переживаний, и первое слово ее было: «Папа! Коля арестован». Она забыла даже о том, что до этого дня всегда называла при мне Крымова Николай Данилович. Она говорила, как взрослая женщина, любящая и знающая свое право на любовь. «Откуда ты знаешь?» — спросил я. На этот вопрос она не ответила правдой. «Я встретила нашу общую знакомую, и она сказала мне». Она замолчала и спустя несколько минут добавила: «Папа, ты должен узнать и похлопотать за него. Ведь он твой компаньон». Она не говорила, что Крымов дорог ей и я должен хлопотать за него, как за ее любимого, она пыталась заставить меня действовать на основе моих деловых интересов. Прозрачное детское сердце женщины, милостивый государь. Я пообещал ей разузнать о причине ареста, хотя и прекрасно знал ее. Я ушел и, вернувшись, рассказал ей со всеми подробностями причину ареста Крымова и сообщил, что в угрозыске мне сказали, что, вероятно, это недоразумение и что недели через две, когда разберутся, его освободят без всяких последствий. Она вынесла мой рассказ, не изменившись в лице, не дрогнув ни одним мускулом. Но ночью, проснувшись, я услышал из ее комнаты глухой плач и — нет меры моему преступлению — обрадовался. На следующий день все валилось из рук у Тани и она с трудом сдерживалась. Когда я предложил ей поработать, она с радостью согласилась. Это давало ей возможность отвлечься от своих мыслей.

И когда она стала у окна, я вздрогнул от безумной и дьявольской радости. Она смотрела — я знал куда: на канал, на мостик, за которым всегда стоял Крымов, — смотрела с мучительным волнением, тоской и безнадежностью. Я работал как бешеный, все во мне кипело и радовалось, я даже не заметил сразу, как она застонала, пошатнулась и опустилась на пол в обмороке. Я поднял ее, задыхаясь от боли и сожаления и от радости одновременно. Я привел ее в чувство, я сидел у ее постели, баюкал ее, как в детстве, пел ей колыбельную песенку, и что-то во мне неистово кричало: «Она твоя, твоя! Ты победил», И каждый день я работал, работал с упоением и жадностью, и с каждым днем все бледнее делалась она и все тоскливее и обреченнее, служа моему замыслу, становилось ее лицо.

Прошли три недели. По моему расчету, Крымов должен был уже выйти на свободу, но его

не было. Моя работа подходила к концу. Таня таяла на моих глазах.

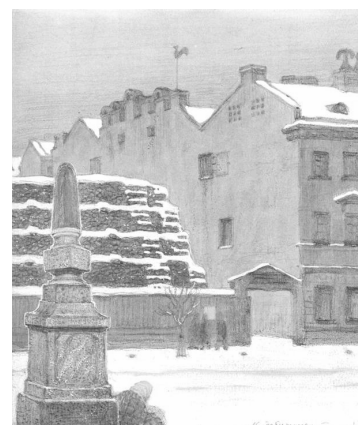
Наконец я, сам встревоженный, пошел в угрозыск. Знакомый агент ошеломил меня известием, что арестованный Крымов передан в распоряжение ГПУ. Земля завертелась подо мной, я ничего не понимал. Я вышел из угрозыска раздавленный. Я не мог понять, почему Крымова могли передать в ГПУ. Дело было настолько незначительное и настолько не касавшееся политики, что это было загадочно. Я вернулся домой разбитый и в этот день не работал. Не работал и в следующий. Таня пришла ко мне и спросила, буду ли я продолжать работу.



Я отговорился нездоровьем. Она побледнела и, вся осунувшись, сказала: «Жаль. Мне спокойней, когда ты работаешь. Я отвлекаюсь от ненужных мыслей». Я чуть не разрыдался. Наутро я отправился к одному знакомому еще по старым временам большевику, имевшему отношение к судебным учреждениям, и просил разузнать о Крымове. Он назначил мне встречу через два дня, и когда я пришел к нему, он без предупреждения, коротко и сухо сказал мне: «Ваше счастье, что ваш компаньон не запутал вас. Он расстрелян». Я взял себя в руки, насколько мог, хотя весь мир потускнел для меня в эту страшную секунду, и просил его рассказать, в чем дело.

Ошеломленный, я узнал, что Крымов был не Крымов, а князь Щенятев, что он скрывался под чужой фамилией; после того, как играл руководящую роль в большом восстании в Центральной России, и был случайно опознан в угрозыске агентом, бывшим во время этого восстания красногвардейцем в городском гарнизоне. Я ни о чем больше не расспрашивал моего знакомого. Я пришел домой, и моей первой мыслью было — сделать петлю и повеситься на крюке от люстры, благо Тани не было дома. Но едва я снял веревку со старой корзины и связал петлю, Таня вернулась. Она поняла по моему виду, что случилось что-то непоправимое, схватила меня за руку и, смотря в глаза, властно приказала: «Говори правду». Я не мог солгать. Я сказал. Я ждал, что она закричит, упадет в припадке. Но она только пошатнулась, закусила губы и тихо сказала: «Я это знала».

После этого она ушла в свою комнату и заперлась. Я стучал, умолял, просил, требовал открыть дверь. Она ответила тихо, но так, что я похолодел от пустоты и мучительности этого голоса: «Папа, оставь меня. Я даю тебе слово, что ничего с собой не сделаю, но мне нужен покой». Я отошел от двери, как побитая собака, и несколько часов просидел в углу без мыслей, недвижимо, с ужасом и надеждой прислушиваясь к каждому шороху из ее комнаты. Перед вечером она вышла, спокойная,



ясная, с чуть припухшими глазами, прошла по мастерской и спросила меня совсем спокойно, но чрезмерно звонким и холодным голосом: «Папа, ты будешь сегодня работать?» Я не мог, я не хотел, я не имел больше права работать. В каждом штрихе угля была моя собственная казнь. Но я согласился потому, что видел, что для нее это необходимо. Уголь скрипел по бумаге, как нож гильотины по позвонкам казнимого, упавший карандаш потряс меня своим стуком, как ружейный залп. Руки у меня тряслись, но я делал вид, что работаю. Вечером я говорил с Таней. Я пытался обелить себя и успокоить ее. Я сказал, что давно подозревал о ее любви к Крымову, что остерегался вмешиваться, что случившееся ужасно, но вместе с тем лучше, что Таня не связала еще окончательно свою судьбу с человеком, который скрывал свое прошлое, — и мои слова хлестали меня же, как раскаленные шомпола.

Она . слушала молча, неподвижно, тихая, закаменевшая. Так прошло два дня. На третий она встала на обычное место к окну, и, увидев в ее фигуре, во всем облике знакомое, дошедшее до предела пленительное выражение обреченной тоски, я забылся в припадке работы. Никогда в ней не было такой зрелой ясности и красоты, как в этот вечер. Когда я положил угли, она подошла и поцеловала меня в лоб. Я готов был упасть на колени и сознаться ей во всем, но она быстро ушла к себе в комнату, а оттуда вышла на улицу. Я слышал, как хлопнула входная дверь и инстинктивно подошел к окну, как тогда. И тотчас же я увидел ее легкую фигурку в синем жакетике и фетровой шляпке. Но она не летела с легкостью птицы, а медленно шла, покачиваясь, словно несла на плечах непосильную ношу.

Я смотрел на нее, и слезы текли по моим щекам. Она дошла до решетки канала, остановилась и стояла так, склонив голову, минут десять, Потом повернулась к окнам нашей квартиры, прижала руки к груди, быстро перекрестилась и, одним прыжком вскочив на решетку, рухнула в воду, Когда я, сломя голову, летя через ступеньки, добежал до канала, по маслу гнилой воды еще дрожали круги и сбегались кричащие люди. Ее не нашли, видно, тело сразу ушло под затонувшую баржу.

Вытащили ее через несколько месяцев, когда от нее ничего не осталось, кроме груды разложившегося мяса...

Шамурин затряс головой и замолчал. Потом вскочил и, протянув руки, зашептал пронзительно и страшно:

— Убийца. Я двойной убийца... нет пощады... нет прощения. Мне страшно жить, мне страшно умирать, потому что я верю в другой мир. Что я отвечу там, когда меня спросят. «Алексей. Что сделал ты со своей плотью и кровью? Что совершил ты со своим ребенком? За что?» Что я отвечу? Что пожертвовал жизнью чада моего для искусства? Да? Что значит все искусство вселенной перед убийством безвинного ребенка? Что. есть истина? Отвечайте мне, Пилат!

Он был страшен, всклокоченный, безумный, с мучительной гримасой, с одичалыми глазами. Кудрин подошел к нему и положил руку ему на плечо.

— Спокойно, — сказал он приказывающе. — Я не Пилат. Я не судья! Я сейчас только человек и художник. Перестаньте! Вам нужно выпить не водки, а воды, — добавил он, увидев, что Шамурин прыгающей рукой тянется к бутылке. — Водки я вам больше не дам, И больше ничего не говорите. Сейчас вы ляжете у меня спать и никуда не пойдете. Вы больны!

Шамурин вырвался:

— Не троньте меня. Не прикасайтесь... Лечь спать? У вас? Нет дома, который я не осквернил бы своим присутствием. Даже ваш дом. Дом человека, не верящего ни во что, кроме кулачного права... Нет!.. .. нет.. Я не могу, я не должен вас оскорблять. Простите... простите!

Он рванулся вперед и, схватив руку Кудрина, прижался к ней губами. Кожей кисти Кудрин ощутил щекочущий волос усов и теплую мокроту слез. Его передернуло, он вырвал руку и отскочил к стене с перекосившимся лицом. Шамурин заметил его судорогу и весь осунулся.

— Да... конечно... я противен. Вас тошнит от моего прикосновения. Весь мир содрогается, соприкасаясь со мной. Я знаю... Я не останусь у вас ни секунды.

Прежде чем Кудрин мог остановить его, Шамурин выбежал из комнаты. Сильно хлопнула входная дверь. Кудрин бросился вдогонку. Но старик бежал с невероятной для его возраста быстротой. Шаги его стучали уже глубоко внизу в пролете.

— Стойте! — крикнул Кудрин. — Гражданин Шамурин! Вернитесь!

Но шаги смолкли внизу. Кудрин медленно вернулся в комнату. Все происшедшее показалось ему сном.

Только лежащая на столе гравюра была реальна и напоминала о реальном. Обреченное мертвое лицо смотрело на него в муке безысходного отчаяния. Кудрин вздрогнул и поспешно поставил картон лицевой стороной к стене.

Заснуть в эту ночь не удалось. Едва веки смыкались в дремоте, откуда-то из ночной темноты выплывали странные тени, и виделось: то воспаленные глаза Шамурина и дрожащий мускул на его щеке, то лицо замученной безумным отцом девушки, то черная вода канала с лопающимися па ней пузырями гнили.

Проворочавшись до рассвета на диване, Кудрин поднялся разбитый и вялый. Болела голова, ныло все тело и моментами наплывал легкий озноб. Кудрин достал из стола термометр. Термометр после пяти минут показал тридцать семь и шесть.

«Простудился», — подумал Кудрин, укладывая стеклянную трубочку в футляр.

Он вспомнил, что, идя от станции к заводу, неосторожно распахнул пальто, а вечер, хотя и обманчиво теплый, дышал лихорадочной сыростью.

«Придется денек пересидеть дома, — подумалось Кудрину, — а то совсем расклеюсь».

Он позвонил в трест и вызвал Половцева.

— Александр Александрович, будьте добры, поработайте малость за меня. Я немного прохвятился ветерком и кисну. Так уж надеюсь на вашу любезность,

— Может, вам врача направить? — спросил Половцев.

— Да нет, ничего серьезного. Просто лихорадит. Приму хины, разотрусь водкой, и все как рукой снимет.

— Позвольте вас навестить вечерком? — продолжал Половцев.

Кудрин помолчал секунду. Видеть Половцева не хотелось, и нужно было сказать об этом прямо, но деликатно, чтобы не обидеть профессора. И Кудрин сказал наконец извиняющимся тоном:

— Лучше не надо, Александр Александрович. Мне что-то хочется, хоть один день отдохнуть от людей.

— Понимаю, — ответил Половцев, и в ответе профессора Кудрин уловил ту же скрытую иронию, которая раздражала его в последние дни. Он быстро положил трубку и, достав из шкафа одеяло, прилег на диван.

Он надеялся заснуть, но сон не шел. Мелкий озноб щекотал тело и не давал успокоиться. И нахлынули мысли. Вспомнился Шамурин с его рассказом: палач и жертва своего фанатического безумия.

Безумие ли?

Кудрин приподнял подушку за спиной и остался в таком положении — полулежа-полусиди.

Безумие ли? Да, конечно, безумие, но в нем была и своя жестокая, мрачная прямолинейная логика. Шамурин упрямо и неуклонно шел по своей линии, без компромиссов и отступлений. Своя и чужая жизнь в жертву делу, в жертву идее искусства.

Несчастный старик!

Кудрин мотал головой, как будто хотел подтвердить свой вывод. А может быть, счастливый художник, — художник, оправдавший свое бытие, Кудрину вспомнился миф о гениальном художнике Эллады, приковавшем своего раба-натурщика к камню. Чтобы вникнуть и передать на полотно искаженные черты огненосца Прометея, художник привязывал к животу натурщика кусок сырого мяса. Голодный орел клевал мясо и вместе с ним рвал клювом мускулы и кожу живого человека. А художник, холодно и зорко наблюдая, запечатлевал каждую судорогу муки и боли на лице и теле натурщика.

А средневековье. Колоссальные полотна с мучениями святых. Христианство возвело эти мучения в догмат жизни и искусства. И, подчиняясь требованиям класса и эпохи, художники

творили мучительные вещи. Был художник, который для полотна Голгофы распинал на кресте собственного сына и запоминал формы готовых взорваться от напряжения мускулов. Другой сидел с карандашом в углу инквизиторского застенка и зарисовывал пытки. Верещагин появлялся на полях боев, когда над ними еще плавала кислая мгла порохового дыма и корчились тела умирающих.

Кудрин с испугом вытер проступивший на лбу пот. «Что же это? Я оправдываю преступление ради искусства?» — подумалось ему.

Нет. Жестокие легенды всплыли в памяти не для этого.

Они были закономерны и диалектически объяснимы для своего времени. Для мрачного, черного времени угнетения и насилия.

Кудрин усмехнулся. Мысль его ухватила за тоненький кончик ниточки, на мгновение мелькнувший из спутанного клубка, и, ухватившись, начала спокойно разворачивать нить.

Да, ясно. Задача художника в социалистическом обществе иная. Он должен не обескрыливать и душить человека зрелищем страданий и мук, но будить радость, здоровье, надежду, говорить полнокровным голосом искусства для освобожденного человечества. Но эту задачу может осуществлять только художник, рожденный классом, создающим новую эру в человеческой истории.

Только плоть от плоти победившего впервые класса бывших рабов. Только он сумеет заметить и передать со всей силой и искренностью новые темы. Чужой, даже и дружелюбный чужой, просто не сможет понять.

Все чудовищные потуги, ужасающе размалеванные тряпки «красных похорон» и «красных октябрин» безнадежны не потому, что они делаются тупыми ремесленниками, без вдохновения, без любви. Нет, среди их авторов есть имена, заслуженно вошедшие в историю искусства. Но при всем старании они не в силах, они не могут понять новой сути изображаемого.

Они корнями росли в психологию отмершего мира. Волею рождения в недрах чуждого революции класса они обречены на непонимание, на невозможность революционного познания и потому на трагическое бесплодие.

Понять, отразить до конца обреченность своего класса, своего общества способен был полубезумный маньяк Шамурин, сам продукт этого общества, квинтэссенция его разложения. Понять будущий расцвет нового общества, его здоровую жажду жизни и здоровые радости может только порожденный классом-победителем, перемоловший старую и воспитавшийся на новой культуре, здоровый художник со здоровым коммунистическим мышлением.

Вот именно.

Кудрин вскочил с дивана и, как бы зараженный внезапным и бодрящим током, заходил по кабинету.

Стены кабинета незаметно растаяли, раздвинулись. Сквозь них Кудрин видел, как наяву, бесконечную галерею накопленных веками сокровищ мирового искусства. Где-то в бесконечном далеке, на желтых обрывах песчаников, смутно виднелись первые попытки мышления художественными образами. Кремневым резцом, цветной глиной, копотью первобытный художник запечатлевал бытие своего общества. Постепенно, шаг за шагом, век за веком, улучшались и усложнялись материалы, искусство захватывало все более широкие перспективы.

И, как бы бредя в гигантском музее, Кудрин внезапно понял еще одно.

В каждую эпоху искусство было кровными связями слито с политическими и социальными формами человеческого бытия. Слабое, неуклюжее и блуждающее вслепую на переломах эпох, оно неуклонно возрастало в своей ценности и полнокровности параллельно с укреплением новых социальных форм и, достигнув величайшего расцвета на вершине эпохи, низвергалось вместе с падением породившего его общества.

Искусство выросло органически из комплекса идей и понятий эпохи, оно не терпело никаких понудительных и ускорительных мер в своем закономерном и правильном росте.

Кудрин усмехнулся:

«Да, да! Конечно, так! У нас все еще впереди, впереди, и мы напрасно «и жить торопимся и чувствовать спешим». Десять лет? Что такое десять лет для хода истории, ведущей счет тысячами веков? Мы — дети, грудные дети, мы еще едва открываем глаза, И, еще не раскрывши, хотим уже видеть свое искусство в полном расцвете. И стремимся взрастить его, как тепличный огурец, паром и жаром, поскорее, побольше, забывая, что в парниковом плоде безвкусная, пресная вода, что он противоестествен, так же противоестествен, как ретортный гомункулус алхимиков».

Кудрину вспомнился Рубенс. Бешеный фламандец, плотоядный обжора, каждым мазком кисти утверждавший коренастое благополучие ядреных голландских торгашей, властелинов морей, колонизаторов. Рубенс вошел в свою эпоху, в эпоху блеска и торжества нарождавшегося могущества голландского капитала, в тот момент, когда оно пришло к своей кульминационной точке. Впереди уже нависали грозные тучи. Адмиральский флаг Нидерландов еще гордо развевался на ближних и дальних морях, но уже одевались парусами трехъярусные громады английских кораблей, чтобы через полвека, в решительных боях с прославленным Рюйтером, раздавить голландское могущество.

Рубенс был плоть от плоти своего века. Его полотна кричали буйством красок и форм о торжестве наживы, стяжания бычачьего сластолюбия. Он писал тела так, что их хотелось

схватить и ощупать пальцами мясистые, налитые округлости. Его живопись была гимном практического торгаша, верящего только в реальную выгоду, привыкшего ощупывать и мерить приобретаемый товар.

Но эта кричащая мощь и пышность, прославляющая мощь и пышность тучной Голландии, была обращена в Рубенсе не искусственными теоретическими настроениями, — она выростала из самых глубин его сознания, она ощущалась художником не как результат предвзятого логического хода, но как естественный выход творческой силы, порожденной и питаемой окружающим расцветом.

И Кудрин отчетливо сознавал, что Рубенс, выписывая своих тучных богов и богинь, никогда не думал, что взмахи его кисти должны содействовать росту и мировому внедрению голландского торгового капитала. Вернее всего, что художник никогда и не задавался вопросом, чему служит его творческий дар, — настолько органично и непосредственно было его восприятие окружающего быта и общества, вошедшее в его кровь с молоком матери. Он был нормальным продуктом своего общества и своего класса и его пропагандистом по крови.

Социальная революция, делу которой отдал свою жизнь Кудрин, сломала и разрушила сгнившие общественные формы и строила новые. Со срывами, с ошибками, с отступлениями она воздвигала новое здание.

И наряду с государственным и общественным строительством медленно нарождалось и новое искусство. Как на переломе каждой эпохи, первые его шаги были топорными, неуклюжими и слепыми. Оно было еще оторвано от общего роста и шло без связи с остальным.

В эти годы трудной, изнурительной, воловьей работы Кудрину казалось, что он поступает правильно, отрекаясь от искусства для будничной, тяжелой, но первоочередной хозяйственной работы. Он успокаивал себя тем, что нельзя объять необъятное. Он занят был делом, которое сейчас важнее для строящегося государства. Если делить время между искусством и . экономикой от этого пострадает тот существенно важный в народном хозяйстве промышленный организм, который вверен его наблюдению. Нужно было сосредоточить все силы в одной области, а не дилетантствовать понемногу во всех.

Но теперь, после всего пережитого и пережитого за последние дни, он начал понимать, что в его логических построениях есть пробел.

Ему было ясно, что ни в какой стройке не может быть такого положения, при котором отдельные камни здания существовали бы сами по себе, не связанные другими. Искусство было так же неотделимо от хозяйства, как и наука. Трест выбрасывал свою продукцию — посуду, статуэтки, стекло — не в безвоздушное пространство, а на реальный рынок, на миллионного потребителя.

И для этого потребителя нужно было создавать и новое художественное оформление выпускаемых изделий, знать перемену и рост художественных вкусов и требований, иначе вся работа творилась впустую, на какого-то неживого, теоретического потребителя, не существующего в природе.

Кудрин остановился посреди кабинета.

«В сущности говоря, ведь это же дико, — подумал он, — ведь мы в действительности не знаем, на кого и мы работаем, какой вкус у нашего покупателя, какое искусство ему нужно? Да больше того — нам нечего ждать, пока он нам откроет истины, мы сами должны их открыть».

Внезапно ему вспомнилась поданная угрюмым комсомольцем ядовитая записка, и он смутился.

«Открыть? А что мы можем открыть, когда наши дети уже перерастают нас в вопросах культуры и искусства. В громе военных гроз, а после — в будничном шелкании счетов мы, старшее поколение, оторвались от культуры, просто упустили ее из виду и, рассчитывая, прикидывая на счетах, лепя кирпичи, отливая балки и формы, пытаемся строить мирный дом, забыв, что под ним нет фундамента культуры. И в новых культурных требованиях никто из нас толком не смыслит и, сталкиваясь с ними, или становится в тупик, или легкомысленно хлестаковствует».

— Ведь я же все позабыл, — сказал он вдруг вслух, уязвленный этой мыслью, — я ничего не знаю. Нельзя же сказать, что я знаю искусство страны, только потому, что три раза в год я заезжаю любопытства ради на очередную выставку и рассматриваю экспонаты с точки зрения ремесленника. Я вижу недостатки, но я палец палец не ударил, чтобы помочь их уничтожить. А ведь у меня специальность. Ведь я же художником был настоящим. Даже Шамурин, для которого мы все — новые гунны, разрушители, и тот это признал. Нет... нужно что-то сделать...

Он опять взволнованно заходил из угла в угол и остановился, только услышав звонок в прихожей. Домработницы не было дома. Кудрин вышел и, открыв дверь, столкнулся с Маргаритой Алексеевной.

Он отступил назад в темноту прихожей.

— Ха-ха-ха! Испугались? — услышал он веселый возглас артистки.

— Входите, Зяма, входите, — приказала она кому-то, проскальзывая в прихожую, и Кудрин увидел в пролете двери чью-то незнакомую фигуру.

— Ну, зажгите же свет, Федор Артемьевич. Вы меня простите, мне позвонил Александр и сообщил, что вы заболели и что не желаете его видеть. А так как я знаю, что вы в единственном числе и беспомощны, я решила нагряться и похозяйничать. Не сердитесь!

Кудрин зажег свет и невольно улыбнулся. За артисткой стоял небольшой человек, нагруженный кулками и свертками.

— Зяма, сложите покупки и можете уходить. Вашей помощи больше не требуется, — сказала Маргарита Алексеевна.

Молодой человек сложил кулки и, поклонившись, исчез за дверью.

Кудрин беспокойно топтался на месте.

— Нет, право, Федор Артемьевич, вы не сердитесь, — заговорила артистка внезапно тепло и просто, — я ведь хорошо знаю, как иногда бывает трудно болеть одинокому человеку. А у меня сейчас свободное время до спектакля, и я рискнула приехать к вам с вкусными вещами. Но если вам не хочется видеть людей — можете спокойно выгнать меня. Даю слово, что не обижусь.

— Зачем выгонять? Наоборот, — ответил Кудрин, успокоенный мягкой теплотой ее голоса, — милости прошу.

— Вот и хорошо.

Кудрин подобрал сложенные Зямой кулки и отнес их за Маргаритой Алексеевной в столовую.

— А почему вы так немилостиво отправили этого вашего носильщика? — спросил он.

Маргарита Алексеевна засмеялась:

— Зямку? А куда ж он годится, кроме как носить покупки? У меня таких адъютантов вагон, У вас примус есть?

— Есть, — ответил Кудрин.

— Показывайте. Я буду чай кипятить.

— Ну, это чепуха! Я сам могу, — возмутился Кудрин.

— Ни-ни, — вы больной.

Несмотря на протесты Кудрина, она забралась в кухню и поставила на примус чайник.

— Я буду следить за ним, а вы разворачивайте тут на столе покупки.

Кудрин послушно занялся разворачиванием пакетов.

Маргарита Алексеевна, возясь у примуса, беспечно рассказывала театральные сплетни. Кудрин слушал, но мысли его были далеко. Он продолжал думать о своем.

Чайник забуллил паром, и артистка перенесла его в столовую. Она усадила Кудрина и уселась сама, продолжая болтать. Но вдруг прервала болтовню и, внимательно взглянув на Кудрина, спросила:

— А вы нехорошо выглядите. Что с вами случилось?

— А что? — опешил Кудрин.

— Вы пьете чай, делаете вид, что слушаете меня, но мысли ваши совсем не здесь. И

видно, что вам не по себе.

— Таить не буду, — ответил Кудрин, — не по себе. Это правда. Только не стоит тревожиться.

Маргарита Алексеевна посмотрела на Кудрина, и ее Покойный взгляд напомнил ему взгляд Половцева.

— Вы меня извините, Федор Артемьевич, я совсем не хочу навязываться с ненужным участием. Я спросила как-то невольно. Я слыхала, что у вас разрыв с женой, знаю, что это бывает очень тяжело. Помочь нельзя, но вы-то не расклеивайтесь. Ваше дело не в семье, а в работе.

Кудрин поставил чашку на стол и улыбнулся:

— Спасибо за участие, Маргарита Алексеевна, Только дело совсем не в разрыве с женой. Он был и прошел. Беда в разрыве с самим собой.

Маргарита Алексеевна удивленно склонила голову.

— Разрыв с собой? У вас? Странно. Я всегда считала вас твердым.

— Вы не совсем поняли. Я и остался таким. Я не поколебался. Но вот трещинка крошечная есть. Я на распутье. Открывается новая дорога. Пойти — или нет.

— Не совсем понимаю, — ответила артистка, подвигаях

Кудрину налитую чашку, — И я не совсем понимаю. Может быть, права моя бывшая жена, и все это одни интеллигентские шатания... Впрочем... хотите, расскажу. Вы — человек умный и теплый, не чета вашему мудрому супругу. Любопытно, как все это выглядит- со стороны.

— Рассказывайте, — коротко сказала Маргарита Алексеевна, сложив руки на скатерть и опершись подбородком на ладони.

Кудрин медленно, точно вдумываясь и выслушивая самого себя, рассказал все происшедшее с ним, от первого посещения выставки до прихода Шамурина.

Артистка выслушала молча, медленно опустила руки на стол и взглянула на Кудрина, словно боясь поверить.

— Как странна и как ужасна история этого старика, — промолвила она тихо.

— Но этот безумный старик натолкнул меня на решение мучившего меня издавна вопроса: почему они могут выразить свою обреченность и распад с подлинной мощью, а мы еще не можем показать нашу силу и здоровье. За ними вековая культура с ее философией, науками, техникой, искусством. А мы вновь родившиеся. Голые человеки на голой земле.

— Да, это конечно, — раздумчиво сказала Маргарита Алексеевна. — Но вы не правы в том, что упадок живописи, как и других искусств, в области формальной, возник только теперь, в связи с переломом эпох. Нет, упадок начался гораздо раньше, и ему другая причина.

— Какая? — перебил Кудрин.

— Сейчас. Вы, я думаю, согласитесь со мной, что в области вашего искусства — живописи — есть какая-то грань, резко разделяющая два периода. Уже, собственно, с семнадцатого века исчезли гиганты кисти и резца и сменились в лучшем случае крепкими ремесленниками. Согласны? Ну вот! Возьмите великолепнейшую эпоху живописи. Поглядите старых итальянцев, испанцев, голландцев. Что вас поразит и первую очередь? Крайняя немногочисленность тем и сюжетов. На триста — четыреста имен пять-шесть сюжетов: благовещение, мадонна с младенцем, святое семейство, распятие, ритуальная церемония, обряд. У голландцев к этому прибавляется деревенская пирушка и пейзаж, Вы скажете: какая скудость, какое неуменье видеть все живое разнообразие жизни. Ничего подобного! Тут налицо создательное ограничение диапазона для возвышения мастерства. Возьмем какое-нибудь благовещение. Некий мастер писал его всю жизнь. В десятках вариантов. Умирая, оставлял учеников. Ученики писали то же благовещение, привнося новые детали, совершенствуя технику и мастерство. Сами становились мастерами и передавали сюжет новым ученикам. И доходили до полного вдохновенного мастерства, до гениальности. Выработывались определенные навыки, то, что сейчас называется казенной кличкой квалификации...

Ах, вы, наверно, не понимаете, куда я гну. Я сама чувствую, что путаюсь, — беспомощно улыбнулась она.

— Нет, — произнес Кудрин, — валяйте дальше. Начинаю разбираться.

— Да? Ну, хорошо. Мастер повторил почти без изменений полотно своего учителя, доводя живопись до непревзойденного блеска. Так выработывалась школа.

Теперь не только отвергли этот принцип совершенствования по одной линии, но его стали считать чуть не преступлением. Каждый фигляр, каждый безграмотный олух стремится поразить мир, открыть свою технику, создать свою школу, исходя при этом не из принципов искусства, а из голой самовлюбленности и нахальства. Повторить сюжет и технику гениального мастера считается преступлением. За это травят и доводят людей до могилы.

Вспомните недавнюю еще историю гибели Крыжицкого. Вспомните: Франц Гальс, оба Тенирса и еще десяток голландцев писали в центре своих пирушек одно и то же хохочущее лицо. И ведь тип этого лица, наконец доведенный до совершенства, стал почти нарицательным.

И никто не боялся, что невежественный недоросль, думающий, что в искусстве обязательно нужно выдумывать небывалые откровения, обвинит Тенирса в плагиате у Гальса или наоборот. Они вместе создавали и усовершенствовали школу. Почему до сих пор еще высоко держится наше сценическое мастерство? Да потому, что мы считаем не грехом, а доблестью повторять приемы и технику наших великих актеров, не оригинальничая ради

пустого оригинальничанья... Право, не знаю, поняли ли вы меня? Александр всегда говорит, что я умею думать, но лишена возможности связно выражать свои мысли.

— Ничего, — усмехнулся Кудрин, — хоть и путанно, но главное я понял. Это любопытно и, пожалуй, имеет смысл... Но, кроме всего, я спрошу вас о личном деле. А вы отвечайте напрямик.

— Пожалуйста, — просто сказала Бем.

— Я очень растревожился за эти дни. Вот оглянулся кругом, посмотрел, проверил и понял и свое и общее наше бескультурье. Хозяйство строим, а про культуру хозяйства забываем. Что толку в том, что построим небесной красоты дворцы, если в этих дворцах на наборный паркет сморкаются. Кто-то сказал, что раньше нужно потолки построить, а потом уже придумывать, какие узоры на них разводить. Чепуха! Нужно одновременно. И потолок и узор придумать, чтоб не опоздать. Фреска сырой штукатурки требует, по сухому потолку не напишешь... Ну вот, И потянуло меня к моей старой работе, к кистям. Только сомнение мучает. Не поздно ли вернуться? Сорок два года...

Маргарита Алексеевна внимательно взглянула на Кудрина и без улыбки сказала:

— Поздно? Малодушие вам не к лицу, Кудрин. Вспомните Гогена. Если вы серьезно...

— Совершенно серьезно.

— Тогда в добрый час. Поверьте, что это говорит друг... А теперь мне пора на спектакль.

— Я выйду с вами, — сказал Кудрин.

— Выйдете? Но вы же нездоровы.

— Пустяки. Мне на воздухе станет лучше.

Кудрин помог артистке одеться, и вместе они вышли на вечернюю улицу.

13

Проводив Маргариту Алексеевну до театра, Кудрин простился с ней и подозвал извозчика. У него созрело решение отправиться к Никитичу и поговорить с ним. Он любил и уважал этого старого, ясного человека, отдавшего партии сорок лет своей жизни и бывшего для Кудрина как бы партийной совестью.

Он застал Никитича дома, в маленьком чуланчике за станком. Старик, руководивший работой крупного оптического предприятия, помимо административной работы находил время для кропотливой возни с проектированием и сборкой фотообъективов и часами возился, прилаживая и пригоняя линзы в десятках комбинаций, Никитич, не отнимая ноги от педали станка, кивнул гостю:

— Здравствуй, милый! Ну, как дела? Поуспокоился или нет?

— Почти успокоился, — сказал Кудрин, — вернее, нашел способ успокоиться. Ты мне можешь уделить полчаса, Никитич?

— Ух, как шикарно! Прямо как в посольстве. «Не можешь ли уделить», — передразнил он Кудрина. — Чего там уделять. Садись вот на табурет и вываливай.

— Ладно, — отвечал Кудрин, садясь, — дело вот какое, Никитич. Бросить я хочу директорство к чертовой матери.

Никитич повернул голову, прищурился и опять стал чем-то неуловимо похож на Ленина.

— Ой ли! — протянул он. — Что так загорелось? Или тоскуешь по поэзии?

— Нет, — твердо сказал Кудрин, — не тоскую. Работа в тресте мне по душе была, и сейчас мог бы работать и честно и крепко, не скучая и не томясь. Вопрос в степени полезности. Где лучше? На какой работе больше толка?

— А разве толка мало?

— Да нет. И толк есть, и охота есть. Но есть еще большая охота. Помнишь, как я у тебя ночевал — о чем говорили.

— Помню, — не спеша ответил Никитич, смотря линзу на свет, — помню.

— Ну вот. Раз помнишь — напоминать не стану. Вот мы тогда с тобой еще утром о культуре нашей говорили, о том, что ее строить чистыми и своими руками надо. Так кажется мне, что руки мои к этому делу пригоднее, чем к тресту.

— Подумал как следует? — спросил Никитич, как будто вскользь, но в вопросе Кудрин уловил острое внимание, и это обрадовало его.

— Подумал. Много думал. Боялся, что действительно у меня уклончик какой-то какой гниловатый начался. А теперь, подумавши, знаю ясно, что иду поправильному. Тянет к прежней работе, к профессии, к художеству. Натолкнули кой-какие случайности, кой-какие наблюдения.

— Думаешь, на художестве больше пользы принесешь?

— Больше! Твердо знаю, что больше. Пришлось вспомнить и понять, что есть у меня профессия, специальность. Раньше как-то невдомек и ни к чему было. Когда варились в котле с семнадцатого по двадцать первый — у всех нас исчезли профессии. Это законно было — иначе нельзя было. В разрушении нужен был только пафос и энергия. Так с этим обезличением и вошли в мирную жизнь. Стали легкомысленно думать, что на постройке нового нужен только пафос да энергия. И пошли сажать людей. Маляра в издательство, швейника в кино, художника в трест. Не боги горшки обжигают. Справимся авось. За авось и расплачиваемся. Недаром уже поняли, что нужно свои кадры специалистов создавать для промышленности, потому что чужие или предают, или не понимают. В промышленности это осознали, а на культурном участке еще нет. И каждый свой человек там на вес золота. Вот я и

решил.

Никитич положил линзу и покачал головой:

— Говоришь дельно, ну, а подумай, кем тебя в тресте заменить? Там мало, говоришь? Да и тут одинаково мало.

— Я знаю. Но в тресте может справиться любой партиец, который знает четыре действия, таблицу умножения и имеет сметку в голове. А я могу создавать культурные ценности и обязан их создавать.

— Ну что же. Если веришь в свою силу и знаешь, что пользу партии дашь и урона не принесешь, тогда иди. У нас того... с художествами худо. Выпускают мастеров малярного цеха, которые не знают, куда ткнуться и как в жизни свое малярство применить. Что ж, иди в какой-нибудь художественный, вуз ректором — дела много, организующая, умелая рука нужна.

Кудрин отрицательно покачал головой:

— Нет. Ни на какие посты в этом деле не пойду. Я тут сам ученик. Мне и работать и одновременно учиться надо. Засяду в мастерскую, возьмусь за угол, за кисти, за черновую работу, может не на год, на много лет, прежде чем первые плоды созреют.

— Ну, это ты вздор понес, миляга. Вздор! А партработа, а общественность?

Кудрин ответил, не опуская глаз- под пристальным взглядом Никитича:

— Партработа? Общественность? Партия освобождает своих писателей от будничной партийной нагрузки, считая, я работа в том, что они пишут. Партийная работа художника в его полотнах. Отрываться от общественной жизни не стану, но работа моя в полотне.

— А с массаами как? С низаами? Что же, в нору от них уйдешь?

Кудрин засмеялся;

— Нет, Никитич, на этом не поймаешь. Не только не оторвусь — ближе подойду. С карандашом, с альбомчиком туда, в мастерские, в цеха, в самую гущину, в самый центр. Каждый штрих, каждый замысел на их проверку, с ними вместе. Это я продумал. У меня на заводе старик есть, изобретатель Королев. Возился последнее время с механической глиномешалкой. Так вот, если мне удастся за всю мою жизнь его одного лицо написать в ту минуту, когда он об этой самой мешалке своей говорит и думает, так написать, чтоб люди почуяли, что это наш Королев, что всю жизнь, все чаяния свои, все торжество свое он в эту мешалку вложил, — вся моя задача выполнена. А если я научу десяток молодых ребят моими глазами видеть, тогда и совсем уходить спокойно можно.

Никитич стоял, ссутулясь, хмуря мохнатую вылинявшую бровь, но Кудрин видел, что под этой хмуростью процветает теплая, ободряющая ласка.

Внезапно, вскинув на Кудрина светлые зрачки, Никитич ворчливо сказал:

— В одиночку все же хочешь работать. Жертва! Подвижничество! Как бы не сорвался. Наше дело миллионное — тем и сильны. В одиночку камня не сдвинешь, а гуртом землю повернуть можно.

Кудрин ответил спокойно:

— Я и об этом думал. Казалось самому — интеллигентская замашечка. А потом вспомнил историю. Верно! Наше дело миллионное. А почему таким стало? Потому что к миллионам, корпевшим в рабстве и темноте, пришли одиночки. Пришли жертвенно, безоглядно — будить и звать. И разбудили и скрепили, спаяли в массив, равного которому не было. То же и сейчас, и я знаю, что от партийной линии я не отхожу. Иду будить и звать на постройку культуры

Хмурая бровь Никитича подпрыгнула, и рот дрогнул усами.

— Ухватился, мошенник, — сказал он смешливо, — поймал жар-птицу за хвост. Ну, добре. Валяй, Видать, идешь с ясным сердцем. Ну и иди. Одобряю.

Кудрин пожал руку старика:

— Спасибо, Никитич. Мне очень важно было, что ты скажешь. Твое слово — точка. Ты меня мальчишкой знал, и без твоего одобрения мне было бы трудно решиться. Спасибо.

Он ушел от Никитича облегченный, спокойный, уверенный.

Легко и широко шагал по мосту через Неву. Голубовато-зеленое трепетанье июньской ночи колыхалось над сонной рекой. Под настилом глухо шелестела вода. Маленький черный жук-буксир тянул по сиреневому шелку, надрываясь и плюя струей воды с левого борта, караван мариинок.

На середине моста Кудрин остановился и долго смотрел на реку, в легкий опаловый туман, с особой четкой зоркостью он видел эту привычную, сотни раз виденную картину и с необычным-волнением понял, что опять смотрит взглядом художника, творчески запоминающим взглядом.

Свое, настоящее, дающее смысл жизни, говорило внутри него все ощутительнее и властнее.

Он усмехнулся и опять зашагал по мосту.

Дома он сел за стол, вынул лист бумаги и уж взялся за перо, как вдруг зазвонил телефон. С неудовольствием взявшись за трубку, Кудрин услышал голос Половцева.

— Федор Артемьевич, простите, что так поздно,— но я только что узнал от Маргариты Алексеевны потрясающее известие. Она говорит, что вы уходите из треста. Что это — шутка?

— Почему шутка? — сухо спросил Кудрин.

— Да не в самом же деле. Мне Маргарита сказала мотивы, и я иначе как шутку воспринять не могу. Бросить прекрасное положение, крупную работу и идти,— куда? Вы же

не маленький, чтобы вам рассказывать, как живут в наше время художники. Хлеб, вода и кислый квас на сладкое. А потом, вы думаете, мне приятно? С вами я сжился, сработался, а теперь черт знает кто у меня хозяином будет. Ну, взбрело вам заняться искусством, — неужели нельзя совместить это с трестовской работой? Нет, я не могу к вашему номеру серьезно отнестись, как ни хотите.

Кудрин злорадно засмеялся в трубку.

— А... Вот когда я вас ноймал, уважаемый гражданин! Вот когда я докопался до вашей сердцевинки-то. Все вы таковы, товарищи специалисты, товарищи интеллигенты высокой квалификации. Когда со стороны говорить о бескультурье, о нехватке работников на культурном участке, о нашей неграмотности, о нашем духовном нищенстве — вы соловьями разливаетесь. А когда нужно идти в бой против бескультурья, — вмиг хвост набок и науток, потому что в драке за культуру поголодать приходится. Потому что тут ни спецставок, ни тантьем, ни заграничных командировок, а хлеб, вода и кислый квас на сладкое.

— Позвольте, Федор Артемьевич! — услышал он обиженный вскрик Половцева.

— И позволять не хочу. Все вы за лишнюю копейку с потрохами продадитесь. Черная работка не по вас, не сладка. Шкурники, уважаемые товарищи!

— Я вижу — вы не в духе, Федор Артемьевич. Лучше поговорим после.

— И после разговаривать не хочу. Много я от вас наслушался умных слов, сладких слов. Больше слушать не хочу. А Маргарите Алексеевне скажите, что я ей крепко кланяюсь за дружбу да за честный совет. Баста!

Половцев забормотал что-то, но Кудрин, не слушая, бросил трубку на рычажки и, откинувшись на спинку стула, захохотал.

Ему ясно представилась долговязая фигура технического директора, в костюме в калифорнийскую клетку, с капитанской бородкой заборчиком вокруг подбородка, недоуменно оставшаяся у телефона. Он ощутил мстительное удовлетворение, оплатив профессору за ядовитые и бередившие разговоры.

Надохотавшись вдоволь, он снова взялся за перо, придвинул стул и стал писать заявление об уходе из треста.

Ленинград,

Февраль — сентябрь 1928 г.